Царь-рыба

Автор:
Виктор Астафьев

Царь-рыба

Виктор Петрович Астафьев

Школьная библиотека (Детская литература)

Нравственно-философское повествование об ответственности человека за все живое вокруг, о трудном и мучительном стремлении его к миру и гармонии в природе и в собственной душе.

Виктор Петрович Астафьев

Царь-рыба

Повествование в рассказах

Об авторе этой книги

У родного села Виктора Петровича Астафьева скромнейшее имя – Овсянка. Что тут на ум приходит? Крупа да каша из самых простецких; чья-то жалоба, что «на одной овсянке жили»…

Не всякий и не сразу припомнит, что овсянка – это еще и птица или, как с неожиданной нежностью пишет в своем знаменитом словаре Владимир Даль, «пташка… зеленоватый хребтик, желтоватый зобок».

Судьба Овсянки горько типична для множества русских деревень. Ее, а с ней и семью будущего писателя не миновали ни раскулачивание, ни высылки, ни страшные потери военных лет. Астафьевские детство и юность – из самых тяжких. Вдоволь было и голода, и холода, и сиротливо прожитых годов, и фронтовых мытарств, душевных и самых что ни на есть буквально ран и шрамов. Даже в мирное время продолжал неотступно стоять перед его глазами «клочок берега, без дерев, даже без единого кустика, на глубину лопаты пропитанный кровью, раскрошенный взрывами… где ни еды, ни курева, патроны со счета, где бродят и мрут раненые». Так напишет Астафьев много лет спустя в романе «Прокляты и убиты».

Казалось бы, где уж тут уцелеть какой-нибудь птахе с ее песенкой… Но старинная пословица гласит: «Овес и сквозь лапоть прорастет». Так упрямо, настойчиво пробивался и талант писателя. Сквозь еще одно из выпавших на его долю лишений, которое на сухом канцелярском языке именуется «незавершенным образованием». Сквозь равнодушие встречавшихся иной раз на его пути «профессиональных» литераторов и редакторов (саднящая память об этом явственно ощутима в книге «Печальный детектив»). И конечно, сквозь преграды, в изобилии возводившиеся в минувшие времена перед правдивым словом обо всех пережитых народом трагедиях.

На празднествах в честь семидесятилетия Виктора Петровича кто-то, припомнив известное американское выражение, назвал его «селфмейдменом» – человеком, который сделал себя сам. Действительно, вроде бы редко кому из нынешних литераторов так впору это определение. Кто тут станет спорить? Никто, пожалуй… кроме самого «селфмейдмена»!

Недаром, наверное, назвал он одну из своих лучших книг – «Последний поклон». Неиссякаемой благодарностью проникнута и она, и лежащая перед вами «Царь-

рыба», да и многие другие астафьевские произведения суровой своей «колыбели» – Сибири во всей ее многоликой красе: от мощного и грозного Енисея до тех самых малых птах с их разноцветными «хребтиками» и «зобками» и – в особенности – множеству людей, скрашивавших и освещавших нелегкую жизнь подростка, начиная с незабвенной бабушки Катерины Петровны. Этот образ критики давно и справедливо ставят рядом с другой бабушкой – из знаменитой автобиографической трилогии Максима Горького. Такие, как она, истовые труженики с детских лет помнятся писателю прямо-таки в каком-то священном и одновременно улыбчивом нимбе: «Прыгая, балуясь, как бы заигрывая с дядей Мишей, стружки солнечными зайчиками заскакивали на него, сережками висли на усах, на ушах и даже на дужки очков цеплялись». А то и в совсем возвышенном, торжественном, почти библейском тоне описаны, как, например, в «Царь-рыбе»: «Никаких больше разговоров. Бригада ужинает. Венец всех свершений и забот – вечерняя трапеза, святая, благостная, в тихую радость и во здравие тем она, кто добыл хлеб насущный своим трудом и потом».

Помимо таких бегло, но четко очерченных тружеников, как бакенщик Павел Егорович, привыкший к грозному шуму енисейских порогов, как мы – к тиканью часов; как отважные и неподкупные рыбинспектора, гроза браконьеров Семен и сменивший его Черемисин; или как тетя Таля, истинная совесть («вроде прокурора») таежного поселка, в этой книге есть и люди, показанные, как говорится, крупным планом.

Брату рассказчика Кольке тоже довелось испытать все невзгоды в многодетной семье, беззаботный глава которой пропивал все до копеечки и годами пребывал в заключении и других отлучках. Жестокая и грубая жизнь с пеленок окружила мальчика, который, как уверяет автор, «еще не научившись ходить, умел уже материться», а девятилетним (!) «впрягся… в лямку, которую никогда не желал надевать на себя папа», – взялся за ружье и за сети, чтобы помочь матери прокормить пятерых, и так надорвался, что всю оставшуюся жизнь выглядел заморышем подростком.

Схожая участь и у его закадычного приятеля и такого же вечного работника Акима, столь же неказистого на вид «паренька в светленьких и жидких волосенках, с приплюснутыми глазами и совершенно простодушной на тонкокожем изветренном (какой красноречивый эпитет! – А. Т.) лице улыбкой».

Аким – уже самая настоящая безотцовщина – тоже сызмальства возглавил семью, все возраставшую благодаря какому-то простодушному, детскому

легкомыслию матери, которую он и поругивал, и жалел.

Благо еще, что старшая сестра Касьянка оказалась совершенно под стать ему, и под их водительством вся местная малышня превратилась в какое-то смешное и трогательное подобие взрослой артели, по мере сил стараясь хоть чем-то помочь рыбакам: «Навстречу, разбрызгивая холодную воду, спешили помощники-парнишки, кто во что одетый, тоже хватались за борта, выпучив глаза, помогали вроде тащить…»

И хотя они, по правде сказать, «больше волоклись за лодками», но уж так стараются, что артельщики не только не осаживают суетливую «мелочь», но «не большому начальнику, а им, малым людям, охотно, вперебой докладывают, какая шла сегодня рыба, где попадалась лучше, где хуже…». И поди разберись, что это было – игра или какая-то подсознательная педагогика! Во всяком случае, эта воробьиная стайка ребят не просто пригрелась и кормится возле общего котла, но уже принимает к сердцу удачи и заботы взрослых, исподволь приобщаясь к труду и строгому артельному уставу: без дела не сидеть! «Самый уж разнестроевой (как здесь аукнулось в языке армейское прошлое автора! – А. Т.) карапуз… и тот был захвачен трудовым потоком – старательно резал лук острущим ножом на лопатке весла…»

Не только на этих страницах сказывается сердечное пристрастие писателя к «малым людям». «Как часто мы бросаемся высокими словами, не вдумываясь в них, – досадует он. – Вот долдоним: дети – счастье, дети – радость, дети – свет в окошке! Но дети – это еще и мука наша. Вечная наша тревога. Дети – это наш суд на миру, наше зеркало, в котором совесть, ум, честность, опрятность нашу – все наголо видать».

Любовь, огромное внимание, сострадание к детям и подросткам, так часто обделенным заботой, участием, лаской, буквально пронизывает астафьевскую прозу. Вот случайно встреченная на пристани и навсегда оставшаяся в памяти со своим детским горем «большеротая, толстопятая девчушка» с глазами «северного, застенчиво-тихого свету». Вот осиротевшая двоюродная сестренка – «ну вылитый ангел! – только заморенный»: «Я дотронулся до беленьких, в косу заплетенных, мягких волос девочки, нашарил сосновую хвоинку, вытащил ее и, пробежав рукою по затылку, запавшему возле шеи от недоедов, задержался в желобке, чувствуя пальцами слабую детскую кожу, отпотевшую под косой…»

Подобное же отношение к детям – драгоценная черта и некоторых дорогих автору героев, например, капитана утлой енисейской посудины с задорным именем «Бедовый». Внешность у Парамона Парамоновича пугающая, и пьяница он не из последних. Но до чего ворчливо-трогателен он в своей заботе о юном матросе Акиме, как воспитывает его на собственном «пагубном примере»: «Я бы счас, юноши-товаришшы, при моем-то уме и опыте где был? – Парамон Парамонович надолго погружался в молчание, выразительно глядел ввысь и, скатываясь оттуда, поникал. – Глотка моя хищная всю мою карьеру сглотила!..»

Аким тоже карьеры не сделал, оставшись простым «работягой», но стал таким же добрым и безотказным человеком, как его друг, рано сгоревший от рака Колька. Он и подлинный – и, как нередко бывает, малооцененный, оставшийся почти никому не известным, – подвиг совершил, спася от смерти и заботливо выходив заболевшую в глухом таежном углу девушку.

В описании его драматической борьбы за жизнь Эли, отчаянных попыток добраться с нею до ближайшего человеческого жилья щемяще-трогательно выглядят эпизоды, когда Аким в разгар всех этих хлопот не забыл стесать со стены приютившей их обоих избушки сделанную кем-то похабную надпись или когда, расставаясь с Элей, просил извинить его за «нескромное поведение» («выражался когда…»).

Рядом с такими страницами, пронизанными гордостью за своих героев, любовью и состраданием к ним, у Астафьева немало и совсем иных, повествующих о людях и явлениях, сталкиваясь с которыми писатель, по собственному признанию, «наполнялся черным гневом». Если Аким наивно поражается эгоизму, корыстности, бессовестности иных своих знакомцев, то писатель не скупится на самые жесткие слова по адресу Гоги Герцева с его высокомерием и самовлюбленностью, который и вовлек Элю в авантюрное путешествие, едва не стоившее ей жизни.

Один из поэтов отозвался на астафьевскую книгу дружеской эпиграммой:

Царь-рыбу он воспел во всей красе,

Воздав ей полной мерой;

Писателем довольны все…

За исключеньем браконьеров.

Оно и правда: это расплодившееся хищное племя зло представлено здесь во множестве «экземпляров» – от сравнительно мелких и безобидных вроде жалкого пьянчужки Дамки, промышляющего по мелочи и легко уличаемого, до Командора и подобных ему «асов» беззаконного лова («На фронте так не намаялся, как с вами!» – воскликнул в горькую минуту рыбинспектор Семен).

«Сколь помнит себя, в лодке, все на реке, все в погоне за нею, за рыбой этой клятой, – размышляет в сердцах Игнатьич, старший брат Командора. – На фетисовой речке родительский покос дурниной захлестнуло». Да что – покос! Дурниной захлестывает саму душу братьев Утробиных (весьма выразительная фамилия!), да так, что из-за «клятой» рыбы Командор готов брата извести.

Хищнически ведут себя разнофамильные герцевы и командоры и на реке, и в тайге, и всюду, где только почует наживу их ненасытная утроба. Свою лепту в истребление природы вносят беззаботные туристы. «С болью вижу следы пребывания „отдыхающих“, после отъезда которых природа ранена, болеет», – говорилось в одном астафьевском интервью. «Кто, как искоренит эту давнюю страшную привычку хозяйствовать в лесу, будто в чужом дворе?» – читаем мы и в «Царь-рыбе».

Еще яростнее ополчается автор на хищничество, осуществляемое, говоря языком юристов, в особо крупных размерах. Одним из эпиграфов к «Царь-рыбе» стало высказывание ученого: «Если мы будем себя вести как следует, то мы, растения и животные, будем существовать в течение миллиардов лет, потому что на Солнце есть большие запасы топлива и его расход прекрасно регулируется».

Однако, увы, не так, «как следует», ведут себя не одни лишь браконьеры и прочие «частники»! Погоня за сиюминутной выгодой без мысли о завтрашнем дне свойственна и могущественным организациям, которые то ради выполнения плана любой ценой, то под эффектным лозунгом «преобразования природы», под маркой широковещательных проектов (вроде печально знаменитой идеи поворота сибирских рек с севера на юг!) были готовы совершить – да и совершали – форменное насилие, надругательство над природой и планетой. «Когда же мы научимся не только брать, брать – миллионы, тонны, кубометры, киловатты, – но и отдавать, когда мы научимся обихаживать свой дом, как добрые хозяева?…» – вопрошает Астафьев.

Он принадлежит к числу тех писателей, которые бесстрашно вступили в бескомпромиссную борьбу с этой опаснейшей практикой, со все новыми затевавшимися авантюрами. «Царь-рыба» – одно из примечательных звеньев этой его деятельности. Во многом это книга – предупреждение. Ибо картина смертельного противоборства Игнатьича с угодившим в его изуверски налаженную сеть красавцем осетром – это уже не просто очередной эпизод в печальной хронике местного браконьерства. Схватка, в которой едва не погибли и Царь-рыба, и сам ее жадный ловец, приобретает тревожный символический смысл. Тут нельзя не задуматься уже о судьбе всей природы и всего человечества.

При появлении этой книги, почти четверть века назад, она была воспринята критикой как «прямой, честный, безбоязненный разговор о проблемах актуальных, значимых», и с той поры ее пафос нимало не устарел.

Гоги герцевы, игнатьичи, командоры не только не перевелись, но многие из них, наоборот, восприняли наступившие годы как «свое» время, охотно подхватывая бездумно и неосмотрительно провозглашаемый призыв – «Бери от жизни все» и т. п.

«Ах, если б возможно было оставить детей со спокойным сердцем, в успокоенном мире!» – грустно замечал писатель. Покуда же до такой идиллии бесконечно далеко, он был готов, по выражению его бабушки, в топоры идти против всякого зла, заманчивой, обольстительной лжи, безудержной алчности и всякого беспредела, против тех, кому лишь бы взять от жизни все (нимало не задумываясь о цене), лишь бы урвать, заграбастать, а там – хоть трава не расти, лес не шуми, вода не теки!

И пусть на взрастившей Акима с братьями и сестрами Боганиде нынче остались лишь развалины барака да «два пенька от артельного стола», но уроки той первой трудовой и нравственной школы незабвенны и святы не только для трогательно-простодушного и вместе с тем духовно несокрушимого героя астафьевской книги.

И уже как будто мы сами вместе с писателем, прильнувшим к самолетному оконцу, озираем всю эту трудную и милую землю, которую он нам открыл в своей книге и которую призывал оберегать, – «просверки серебра и золота на воде… песчаные отмели, облепленные чайками, с высоты скорее похожими на толчею бабочек-капустниц… на зеленом мыске костерок, пошевеливающий

синим лепестком дыма, при виде которого защемило сердце, как всегда, захотелось к этому костру, к рыбакам…».

Живет Овсянка! Несколько лет назад здесь открылась построенная по почину Астафьева и во многом на его средства библиотека. И хотя, разумеется, выглядит она куда скромнее высящейся неподалеку, всего в нескольких десятках километров, Красноярской ГЭС, но тоже способна незаметно, неслышно давать людям свою, особую энергию, осветить жизнь новым светом, восполняя те потери, какие понесли в недавнем прошлом и сама Овсянка, и вся страна, и внести свою драгоценную долю в дело возрождения России.

Андрей Турков

Часть первая

Молчал, задумавшись, и я,

Привычным взглядом созерцая

Зловещий праздник бытия,

Смятенный вид родного края.

Николай Рубцов

Если мы будем себя вести как следует, то мы, растения и животные, будем существовать в течение миллиардов лет, потому что на Солнце есть большие запасы топлива и его расход прекрасно регулируется.

Халдор Шепли

Бойе

По своей воле и охоте редко уж мне приходится ездить на родину. Все чаще зовут туда на похороны и поминки – много родни, много друзей и знакомцев – это хорошо: много любви за жизнь получишь и отдашь, да хорошо, пока не подойдет пора близким тебе людям падать, как падают в старом бору перестоялые сосны, с тяжелым хрустом и долгим выдохом…

Однако доводилось мне бывать на Енисее и без зова кратких скорбных телеграмм, выслушивать не одни причитания. Случались счастливые часы и ночи у костра на берегу реки, подрагивающей огнями бакенов, до дна пробитой золотыми каплями звезд; слушать не только плеск волн, шум ветра, гул тайги, но и неторопливые рассказы людей у костра на природе, по-особенному открытых, рассказы, откровения, воспоминания до темнозори, а то и до утра, занимающегося спокойным светом за дальними перевалами, пока из ничего не возникнут, не наползут липкие туманы, и слова сделаются вязкими, тяжелыми, язык неповоротлив, и огонек притухнет, и все в природе обретет ту долгожданную миротворность, когда слышно лишь младенчески чистую душу ее. В такие минуты остаешься как бы один на один с природою и с чуть боязной тайной радостью ощутишь: можно и нужно наконец-то довериться всему, что есть вокруг, и незаметно для себя отмякнешь, словно лист или травинка под росою, уснешь легко, крепко и, засыпая до первого луча, до пробного птичьего перебора у летней воды, с вечера хранящей парное тепло, улыбнешься давно забытому чувству – так вот вольно было тебе, когда ты никакими еще воспоминаниями не нагрузил память, да и сам себя едва ли помнил, только чувствовал кожей мир вокруг, привыкал глазами к нему, прикреплялся к древу жизни коротеньким стерженьком того самого листа, каким ощутил себя сейчас вот, в редкую минуту душевного покоя…

Но так уж устроен человек: пока он жив – растревоженно работают его сердце, голова, вобравшая в себя не только груз собственных воспоминаний, но и память о тех, кто встречался на росстанях жизни и навсегда канул в бурлящий людской водоворот либо прикипел к душе так, что уж не оторвать, не отделить ни боль его, ни радость от своей боли, от своей радости.

… Тогда еще действовали орденские проездные билеты, и, получив наградные деньги, скопившиеся за войну, я отправился в Игарку, чтобы вывезти из

Заполярья бабушку из Сисима.

Дядья мои Ваня и Вася погибли на войне, Костька служил во флоте на Севере, бабушка из Сисима жила в домработницах у заведующей портовым магазином, женщины доброй, но плодовитой, смертельно устала от детей, вот и просила меня письмом вызволить ее с Севера, от чужих, пусть и добрых людей.

Я многого ждал от той поездки, но самое знаменательное в ней оказалось все же, что высадился я с парохода в момент, когда в Игарке опять что-то горело, и мне показалось: никуда я не уезжал, не промелькнули многие годы, все как стояло, так и стоит на месте, вон даже такой привычный пожар полыхает, не вызывая разлада в жизни города, не производит сбоя в ритме работы. Лишь ближе к пожару толпился и бегал кой-какой народ, гундели красные машины, по заведенному здесь обычаю качая воду из лыв и озерин, расположенных меж домов и улиц, громко трещала, клубилась черным дымом постройка, к полному моему удивлению оказавшаяся рядом с тем домом, где жила в домработницах бабушка из Сисима.

Хозяев дома не оказалось. Бабушка из Сисима в слезах пребывала и в панике: соседи начали на всякий случай выносить имущество из квартир, а она не смела – не свое добро-то, вдруг чего потеряется?…

Ни обопнуться, ни расцеловаться, ни всплакнуть, блюдя обычай, мы не успели. Я с ходу принялся увязывать чужое имущество. Но скоро распахнулась дверь, через порог рухнула тучная женщина, доползла на четвереньках до шкафчика, глотнула валерианки прямо из пузырька, отдышалась маленько и слабым мановением руки указала прекратить подготовку к эвакуации: на улице успокоительно забрякали в пожарный колокол – чему надо сгореть, то сгорело, пожар, слава Богу, на соседние помещения не перекинулся, машины разъезжались, оставив одну дежурную, из которой неспешно поливали чадящие головешки. Вокруг пожарища стояли молчаливые, ко всему привычные горожане, и только сажей перепачканная плоскоспинная старуха, держа за ручку спасенную поперечную пилу, голосила по кому-то или по чему-то.

Пришел с работы хозяин, белорус, парень здоровый, с неожиданною для его роста и национальности продувной рожей и характером. Мы с ним и с хозяйкою крепко выпили. Я погрузился в воспоминания о войне, хозяин, глянув на мою медаль и орден, сказал с тоской, но безо всякой, впрочем, злости, что у него тоже были и награды, и чины, да вот сплыли.

Назавтра был выходной. Мы с хозяином пилили дрова в Медвежьем логу. Бабушка из Сисима собиралась в дорогу, брюзжала под нос: «Мало имя меня, дак ишшо и пальня сплатируют!» Но я пилил дрова в охотку, мы перешучивались с хозяином, собирались идти обедать, как появилась по-над логом бабушка из Сисима, обшарила низину не совсем еще выплаканными глазами и, обнаружив нас, потащилась вниз, хватаясь за ветки. За нею плелся худенький, тревожно знакомый мне паренек в кепочке-восьмиклинке, в оборками висящих на нем штанах. Он смущенно и приветно мне улыбался. Бабушка из Сисима сказала по-библейски:

– Это брат твой.

– Колька!

Да, это был тот самый малый, что, еще не научившись ходить, умел уже материться и с которым однажды чуть не сгорели мы в руинах старого игарского драмтеатра.

Отношения мои после возвращения из детдома в лоно родимой семьи опять не сложились. Видит Бог, я пытался их сложить, какое-то время был смирен, услужлив, работал, кормил себя, часто и мачеху с ребятишками – папа, как и прежде, пропивал все до копейки и, следуя вольным законам бродяг, куролесил по свету, не заботясь о детях и доме.

Кроме Кольки, был уже в семье и Толька, а третий, как явствует из популярной современной песни, хочет он того или не хочет, «должен уйти», хотя в любом возрасте, на семнадцатом же году особенно, страшно уходить на все четыре стороны – мальчишка не переборол еще себя, парень не взял над ним власти – возраст перепутный, неустойчивый. В эти годы парни, да и девки тоже совершают больше всего дерзостей, глупостей и отчаянных поступков.

Но я ушел. Навсегда. Чтоб не быть «громоотводом», в который всаживалась вся пустая и огненная энергия гулевого папы и год от года все более дичающей, необузданной в гневе мачехи, ушел, но тихо помнил: есть у меня какие-никакие родители, главное, ребята, братья и сестры, Колька сообщил – уже пятеро! Трое парней и две девочки. Парни довоенного производства, девочки создались после того, как, повоевав под Сталинградом в составе тридцать пятой дивизии в должности командира «сорокапятки», папа, по ранению в удалую голову, был

комиссован домой.

Я возгорелся желанием повидать братьев и сестер, да, что скрывать, и папу тоже повидать хотелось. Бабушка из Сисима со вздохом напутствовала меня:

– Съезди, съезди… отец всеш-ки, подивуйся, штоб самому эким не быть…

Работал папа десятником на дровозаготовках, в пятидесяти верстах от Игарки, возле станка Сушково. Мы плыли на древнем, давно мне знакомом боте «Игарец». Весь он дымился, дребезжал железом, труба, привязанная врастяжку проволоками, ходуном ходила, того и гляди, отвалится; от кормы до носа «Игарец» пропах рыбой, лебедка, якорь, труба, кнехты, каждая доска, гвоздь и вроде бы даже мотор, открыто шлепающий на грибы похожими клапанами, непобедимо воняли рыбой. Мы лежали с Колькой на мягких белых неводах, сваленных в трюм. Между дощаным настилом и разъеденным солью днищем бота хлюпала и порой выплескивалась ржавая вода, засоренная ослизлой рыбьей мелочью, кишками, патрубок помпы забивало чешуей рыбы, она не успевала откачивать воду, бот в повороте кренило набок, и долго он так шел, натужно гукая, пытаясь выправиться на брюхо, а я слушал брата. Но что нового он мог мне рассказать о нашей семейке? Все как было, так и есть, и потому я больше слышал не его, а машину, бот, и теперь только начинал понимать, что времени все же минуло немало, что я вырос и, видать, окончательно отделился от всего, что я видел и слышал в Игарке, что вижу и слышу на пути в Сушково. А тут еще «Игарец» булькал, содрогался, старчески тяжело выполнял привычную свою работу, и так жаль было мне эту вонючую посудину.

Я раскаиваться начал, что поехал в Сушково, но дрогнуло, затрепыхалось сердце, когда возле одиноко и плоско стоявшего на низком берегу барака увидел я косолапенького, уже седого человека, чисто выбритого, с пятнышками усов-бабочек под чутко и часто шмыгающим носом. Нет, пока еще никто и ничто не отменило, не побороло в нас чувство, занимающее место в сердце помимо нашей воли. Сердце прежде меня почуяло, узнало родителя! Чуть в стороне, на зеленом приплеске топталась все еще по-молодому стройная женщина со сбитым на затылок платком. К реке, навстречу боту «Игарец», в изнеможении остановившемуся на якоре, но все еще продолжающему дымить во все дыры, взбивая желтенький дымок пересеянного ветрами песка, мчались ребятишки, обутые и одетые кто во что, за ними с лаем неслась белая собака…

Телеграммы в Сушково мы не давали, да она сюда и не дошла бы, Коля, ездивший поступать в игарскую школу и там случайно подцепивший меня, выскочил на берег и, частя, захлебываясь, кричал, показывая на трап:

– Папка! Папка! Гляди, кого я привез-то…

Отец затоптался на месте, заколесил ногами, засуетился руками, сорвался вдруг, легко, как в молодости, побежал навстречу, обнял меня, для чего ему пришлось подняться на цыпочки, неумело поцеловал, чем смутил меня изрядно – последний раз он облобызал родное чадо лет четырнадцать назад, возвратившись с великой стройки Беломорканала.

– Живой! Слава Богу, живой! – По лицу родителя катились слабые, частые слезы. – А мне кто-то писал или сказал, будто погиб ты на фронте, пропал без вести, ли че ли…

Вот так вот: «… не то погиб, не то пропал без вести, ли че ли…» Эх папа! Папа…

Мачеха все так же отчужденно стояла на приплеске, не двигаясь с места, чаще и встревоженней дергалась ее голова.

Я подошел, поцеловал ее в щеку.

– А мы правда думали, пропал, – сказала она. И не понять было: сожалеет или радуется.

– Я женат. У меня своя семья. Заехал повидаться, – поспешил я успокоить родителей и, почувствовав ихнее да и свое облегчение, обругал себя: «Все ищешь, недотыка, то, чего не терял!»

Ребятишки, лесные, диковатые от безлюдья, не сразу, но привыкли ко мне, а привыкнув, как водится, и прилипли, показывали удочки, самопалы, тащили на реку и в лес. Коля не отходил от меня ни на шаг. Вот кто умел быть душевно преданным каждому человеку, родне же преданным до болезненности. За братом тенью таскался кобель по кличке Бойе. Бойе или Байе – по-эвенкийски друг. Коля кликал собаку по-своему – Боё, и потому как частил словами, в лесу звучало сплошняком: «ё-ё-ё-о-о-о».

Из породы северных лаек, белый, но с серыми, точно золой припачканными передними лапами, с серенькой же полоской вдоль лба, Бойе не корыстен с виду. Вся красота его и ум были в глазах, пестроватых, мудро-спокойных, что-то постоянно вопрошающих. Но о том, какие умные глаза бывают у собак и особенно у лаек, говорить не стоит, о том все сказано. Повторю лишь северное поверье: собака, прежде чем стать собакой, побыла человеком, само собою, хорошим. Это детски наивное, но святое поверье совсем не распространяется на постельных шавок, на раскормленных до телячьих размеров псин, обвешанных медалями за породистое происхождение. Среди собак, как и среди людей, встречаются дармоеды, кусучие злодеи, пустобрехи, рвачи – дворянство здесь так искоренено и не было, оно приняло лишь комнатные виды.

Бойе был труженик, и труженик безответный. Он любил хозяина, хотя сам-то хозяин никого, кроме себя, не умел любить, но так природой назначено собаке – быть привязанной к человеку, быть ему верным другом и помощником.

Суровой северной природой рожденный, свою верность Бойе доказывал делом, ласки не терпел, подачек за работу не требовал, питался отбросами со стола, рыбой, мясом, которые помогал добывать человеку, спал круглый год на улице, в снегу, и только в самые лютые морозы, когда мокрый чуткий его нос, хоть и укрытый пушистым хвостом, засургучивало стужей, он деликатно царапался в дверь и, впущенный в тепло, тут же забивался под лавку, подбирал лапы, сжимался в клубочек и робко следил за людьми – не мешает ли? Поймав чей-либо взгляд, коротким взмахом хвоста просил его извинить за вторжение и за псиный запах, в морозы особенно густой и резкий. Ребятишки норовили чего-нибудь сунуть собаке, покормить ее с руки. Бойе обожал детишек и, понимая, что нельзя малым людям, так нежно пахнущим, учинять обиду отказом, но и пользоваться их подачками ему не к лицу, прижавши уши к голове, смотрел на хозяина, как бы говоря: «Не польстился бы я на угощение, но дети ж неразумные…» И, не получив ни дозволения, ни отказа, однако угадав, что хозяин хоть и не благоволит баловству, однако ж и не перечит, Бойе вежливо снимал с детской руки замусоленный осколочек сахару или корочку хлебца, чуть слышно хрустел под лавкой, благодарно шаркал языком розовую ладошку, попутно и лицо, да и закрывал поскорее глаза, давая понять, что он насытился и взяла его дрема. На самом же деле за всеми наблюдал, все видел и слышал.

С каким облегчением кобель вываливался из избяной утесненности, когда чуть теплело на дворе. Он валялся в снегу, отряхивался, выбивая из себя застойный дух тесного человеческого жилья. Подвявшие в тепле уши снова ставил

топориком и, озырнувшись на избу – не видит ли хозяин, бегал за Колькой, цепляя его зубами за телогрейку. Колька был единственным на свете существом, с которым Бойе позволял себе играть, да и то по молодости лет, после отрекся от всяких игр, отодвигался от ребятишек, поворачивался к ним задом. Если уж они совсем неотвязны делались, не очень чтобы грозно, скорее предупредительно, заголял зубы, катал в горле рык и в то же время давал взглядом понять, что досадует он не со зла, от усталости…

Без охоты Бойе жить не мог. Если отец или Колька по какой-либо причине долго не ходили в лес, Бойе ронял хвост, лопоухо опускал голову, неприкаянно бродил, никак не мог найти себе места, даже повизгивал и скулил, точно хворый.

На него кричали, и он послушно смолкал, но томленье и беспокойство не покидали его. Иногда Бойе один убегал в тайгу, подолгу там пропадал. Как-то припер в зубах глухаря, по первому снегу вытропил песца, пригнал его к бараку и до того загонял бедную зверушку вокруг поленницы дров, что, когда на гам и лай вышел хозяин, песчишко сунулся ему меж ног, отыскивая спасенье и защиту.

Бойе шел по птице, по белке, нырял в воду за подраненной ондатрой, и все губы у него были изорваны бесстрашными зверьками. Он умел в тайге делать все и соображал, как не полагалось животному, чем вбивал в суеверие лесных людей – они его побаивались, подозревая нечистое дело. Не раз спасал и выручал Бойе Кольку – друга своего. Тот однова так забегался за подранком – глухарем, что затемняло в тайге и замерз бы лихой охотник в снегу, да Бойе сперва отыскал, затем привел к нему людей.

Было это ранней зимой, а по весне Колька приволокся на глухое озеро пострелять уток. Бойе обежал лесом озеро, прошлепал по мелкому таю, остановился на обмыске и замер в стойке, глядя в воду. «Чего-то узрел!» – насторожился Колька. Бойе приосел в осоке, пополз к урезу берега, вдруг пружинисто взметнулся, бултых в воду! «Вот дурень! – улыбнулся Колька. – Засиделся около дома, балуется». Но Бойе тащил что-то в зубах, бросил на берег, отряхнулся. Колька приблизился и опешил – в траве каталась щучина килограмма на два. Бойе ее лапой прижал, ухмыляется.

Услышав этакое сообщение, папа хотел дать охотнику порку за вранье, но Колька настоял сходить еще раз на озеро, потом, мол, лупцуй, если набрехал. Когда Бойе выпер вновь из воды щучину, папа, которого вроде бы ничем уже было не удивить на этом свете, развел руками: «Чего за свою бурную жизнь ни

перевидел, – говорит, – приключений каких только не изведал, однако подобного дива не зрел еще. Бестия – не кобель! Раньше бы меня повесили вместе с собакой на лиственнице, або утопили обоих – за колдовство, привязавши к одному камню…»

В ту пору часть буксирных пароходов ходила еще на дровах. Надолго причалив к берегу у Сушкова, суда запасались топливом, которое тут зимами ширкал наезжий люд, все больше ссыльный.

Был Бойе большой любитель встречать и провожать пароходы. Однажды он забежал на буксир, отыскивая отца, подавшегося разведать насчет выпивки, и, пока хозяин искал горючку или пиво, а кобель искал хозяина, деляги с буксира поймали его на поводок. Никогда не кусал Бойе людей и не знал, что иной раз укусить их следовало бы. Пароход набрал дров, загудел и наладился отваливать. Тут и хватилась семья – нет кормильца и сторожа. Покричали его, позвали – не откликается. Заревели ребятишки в голос, мачеха заревела – пропадать без собаки. Папа чалку не отдает. Капитан штрафом грозится за задержку судна. Ругались, ругались пароходные люди, но все же подали трап. Весь буксир обошел, обшарил поднабравшийся папа – нет собаки. И тогда он решительно крикнул:

– Ко мне, Бойе!

И тут же из машинного отделения буксира раздался рыдающий голос кобеля. Конфуз и паника была на пароходе, потому что папа рвался пальнуть из ружья по рубке капитана, но семья висела на нем, отымала ружье. Папа все же пальнул дробью вслед кораблю, да не достал, тот уже был далеко от берега.

Бойе отводил глаза, виновато вилял хвостом, стыдясь оплошки. К пароходам он с тех пор близко не подходил. Сядет на подмытом приплеске, посматривает на пароход и озирается на кусты, дескать, чуть что, дерану в лес, только меня и видали!

К поре моего свидания с семьей должность десятника на дровозаготовках крепко уже утомила папу, душа его жаждала перемен, бурной деятельности – замышлял он податься в начальники рыбного участка, так как по сию пору считал себя непревзойденным специалистом по обработке рыбы.

Я отговаривал родителя – только что был опубликован грозный, карающий указ о финансовой и иной ответственности, толковал ему о том, что семья, слава Богу, при месте, от тайги питается мясом, рыбой, ягодами и орехами, мол, воздвиг досрочно Беломорканал и довольно с него трудовых подвигов, на что родитель ответствовал коротко и решительно: «Яйца курицу не учат!» И вскоре после моего отъезда из Сушкова подался-таки на руководящий пост.

Через год я получил от него письмо, которое начиналось словами: «Пишу письмо, – слеза катится…» По лирическому запеву послания не составляло труда заключить: папа опять проживает в «белом домике». И снова – в который раз! – затерялся, запропал след родителя, оборвалась непрочная, всегда меня мучающая связь с нашей нескладной и неладной семьей.

Лет десять спустя после встречи с отцом и семьею в Сушкове попал я на Север по творческой командировке. На сей раз Бог меня миловал – в Игарке ничего не горело. Последний раз пожар в городе был неделю назад и уничтожил не что иное, как позарез мне нужное заведение – гостиницу. Местные газетчики поместили меня в пионерлагерь, располагавшийся на мысу Выделенном – самом сухом и высоком здесь месте, с которого отдувало комаров, и детишки спали в домиках без пологов.

Утром я пробудился по горну, дождался, когда смолкнет ребячий гвалт, и отправился умыться на Енисей. Вышел, гляжу – сидит на крашеной скамейке худенький быстроглазый парень с красивым живым лицом, в кепке-восьмиклинке и приветливо улыбается.

Я заозирался вокруг – никого нигде не было – и тогда изобразил ответную улыбку. Паренек бросился мне на шею, сдавил ее костлявыми руками и, как бабушка из Сисима десять лет назад, библейски возвестил:

– Я брат твой!

Коля был и остался заморышем-подростком, хотя уже сходил в армию, выслужился до старшего сержанта. Не видавший добра и ласки от родителей, он искал ее у других людей. Где со слезами, где со смехом поведал он о том, как жили и росли они после моего приезда в Сушково.

Попав на руководящую должность, папа повел бурный образ жизни, да такой, что и не пересказать, будто перед всемирным потопом куролесил, кутил и последнего разума решился.

Однажды поехал он на дальние тундровые озера, на Пясину, где стояли рыболовецкие бригады, сплошь почти женские. Питаясь одной рыбой, они ждали денег и купонов на продукты, хлеб и муку. Но папа так люто загулял с ненцами по пути к озерам, что забыл обо всяком народе, да и о себе тоже. Олени вытащили из тундры нарты к станку Плахино. На нартах, завернутый в сокуй и медвежью полость, обнаружился папа, черный весь с перепоя, заросший диким волосом, с обмороженными ушами и носом. За нартой развевались разноцветные ленточки, деньги из мешка и карманов рыбного начальника сорились. Ребята давай забавляться ленточками, подбрасывать, рвать их, но прибежала мачеха, завыла, стала рвать на себе волосы – ленточки те были продуктовыми талонами, деньги – зарплата рабочим-рыбакам.

Пропита половина. Чем покрывать? Папа пьяный-пьяный, но смикитил: на озера, в бригады ехать ему нельзя – разорвут голодные люди, под лед спустят и рыбам скормят. Вот и повернул оленей вспять. Но все равно хорохорился, изображая отчаянность, кричал сведенным стужей ртом: «Всем господам по сапогам!..», «Мореходов (начальник рыбозавода) друг мой верный! И мы с Мореходовым на ?рок положили…». Урками начальник рыбного участка называл бригадников, волохающих на тундряных озерах немысленно тяжелую работу – пешнями долбят двухметровый лед, и, пока доберутся до воды, делают три уступа, майна скрывает человека с головой. И все же работают, не отступаются, добывают ценную рыбу – чира, пелядь, сига.

Видеть папину дурь, слушать его было на этот раз совсем неловко даже детям, все понимали, да и он тоже: несдобровать ему.

Судил начальника рыбного участка и бухгалтера выездной суд в клубе станка Плахино. Двадцать четыре года отвалили им на двоих за развеселую руководящую жизнь. После суда папу отправили этапом на строительство моста через Енисей – на Крайнем Севере возводилась железная дорога.

Строй заключенных спускался по игарскому берегу к баржам. Колька стоял в сторонке, дожидаясь отца, чтобы передать ему пачку махорки. Мачеха с ребятами, приехав следом за отцом в Игарку, поселилась у знакомых и заболела, свалилась от потрясения, головой стала маяться, совсем уж расшатанно

потряхивала ею, судорожно дергалась худой, птичьей шеей. Задергаешься с пятью-то ребятами, без угла, без хлеба, без хозяина, какой он ни на есть. Осунувшийся лицом Колька отыскивал взглядом отца – понимал парнишка: мыкаться им, ох мыкаться. Из-за слез не вдруг различил Колька отца в колонне. Зато Бойе сразу увидел его, возликовал, залаял, ринулся в строй, бросился отцу на грудь, лижет в лицо, за фуфайку домой тянет. Замешкался, сбился строй, и сразу клацнул затвор. Отец, сделавшийся смирненьким и виноватым, загородил собою Бойе.

– Это ж собака… В людских делах она не разбирается… – И, приметив плачущего Кольку, уронил взгляд в землю: – Стрелять не собаку, меня бы…

Колька с трудом оттащил Бойе в сторону. Кобель не понимал, что происходит и зачем уводят хозяина, завыл на всю пристань да как рванется! Уронил Кольку, не пускает хозяина на баржу, препятствует ходу.

Молодой чернявый конвоир приостановился, отбросил собаку пинком в сторону и, не снимая автомата с шеи, мимоходом, в упор прошил ее короткой очередью.

Бойе словно переломился в спине, стремительное его тело забилось передней половиной, заскребло, зацарапало лапами дорогу. От пыли собака сделалась серой. Заключенные старались не наступать на умирающего пса, перешагивали через него, смешали пятерки. Конвой заволновался, бегом погнал по трапу подконвойных в трюм баржи. Плакал отец, труся по трапу в гуще людей. Плакал Колька, пластом свалившись на Бойе.

Бойе еще поднял голову из торфяной пыли, размешанной ногами, отыскивая глазами хозяина, но увидел человека с коротеньким ружьем, обвел приметливым, быстрым взглядом мыс острова с бедной заполярной растительностью, неба серенького клок и стену лесов за Енисеем, всегда заманчивых, наполненных тишиной и тайнами, которые Бойе так любил и умел разгадывать. Родившийся для совместного труда и жизни с человеком, так и не поняв, за что его убили, пес проскулил сипло и, по-человечьи скорбно вздохнув, умер, ровно бы жалея иль осуждая кого.

И впрягся Колька в лямку, которую никогда не желал надевать на себя папа. Зимой ли заполярной, в трескучие морозы, в мокромозглую ли осень, в дурное ли вешнее половодье парнишка в тайге, на воде, с ружьем, с сетями – кормил, как

мог, семью, помогал матери. Однажды столкнулся нос к носу с только что поднявшимся из берлоги медведем. Не успевши перезарядить одноствольное ружье, пальнул дробью в зверя. Пока тот, ослепленный, катался по земле, пока ревел, отбиваясь от собаки, парнишка стал за дерево, заложил патрон с пулей и встретил медведя, ринувшегося на него.

Было охотнику и кормильцу в ту пору четырнадцать лет, и долго тащить на себе такой возище у него не хватило сил. Был он еще слишком жидок и скоро надорвался. Пришлось мачехе отдавать младших ребятишек в детдом, и хватили они той самой жизни, коей стращали когда-то родители старшего парня, стало быть меня, и не всем братьям и сестрам та жизнь задалась…

Поведав мне все это, братан сорвался со скамейки пионерлагеря, схватил мой чемоданишко и поволок меня в город. Всю дорогу он, захлебываясь, жестикулируя руками – это у всех у нас от папы, говорил, говорил и вроде бы наговориться не мог. Папа неизвестно где, а жесты, привычки его, и не все самые лучшие, навсегда отпечатались в нас.

Мачеха, выйдя снова замуж, выехала с новой семьей на магистраль. Коля задержался в Игарке, работал таксистом, только что женился, но ни о молодой жене, ни о работе не поминал, мысленно пребывал в лесу, на реке. На другой же день он утартал меня за старую Игарку, на озера, и мы там – порода-то одинаковая! – нахлестали уток, но достать их не могли. Стояло безветрие, озера заросшие, уток не подбивало к берегу. Братец, не долго думая, снял сапоги, штаны, закатал рубаху на впалом животе с наревленным в детстве пупом и побрел. Я ругался, грозил никуда больше с ним не ездить – на дне заполярных озер, под рыхлым торфом и тиной вечный лед, и ему ли, с его «могучим» телосложением…

– Ниче-о, ниче-о-о-о! – всхлипывая от холода, брел Колька напропалую, вглубь. – Привычно. – Да еще поскользнулся и в ответ на мою ругань выдал: – Худ в воду бредет, худ из воды вылезает, худ худу бает: ты худ, я худ, погоняй худ худа… У-ух! – оступился братец, ахнул, ожгло его водой, и поскорее на берег, не закончив присказки, однако несколько птиц сумел ухватить. До красноты ошпаренный студеной водой, обляпанный ряской, тиной и водорослями, он плясал возле костра, а наплясавшись и чуть обыгав, стал намекать: не попробовать ли еще? Вода сперва только холодная, потом ничего, терпимо.

Я заорал на него лютей прежнего, и братец с сожалением оставил свой замысел.

Мы ждали ветра, чтоб он подбил уток к берегу озера, но дождались шторма. Без припасов сидели двое суток по другую сторону Енисея, питаясь без соли испеченными в золе утками. Во всех замашках брата, в беззаботности его, в рассказах, сплошь веселых, в разговорах с прибаутками, да и в поступках тоже – дружил с одной девушкой больше года, женился на другой, знаком с которой был не то три, не то четыре вечера, не считая затяжного выезда на такси за город, – во всем этом было много от затерявшегося родителя. Лицом братец – вылитый папа, но больше всего было все же в нем мальчишки. Не прожитое, не отыгранное, не отбеганное детство бродило в парне и растянулось на всю жизнь… Видать, природой заказанное человеку должно так или иначе исполниться.

Коля заявил: точит его мечта махнуть зимой поохотничать в тундру. На машине работает без души, в городе ему скучно. Отговаривать его было бесполезно, от этого он только пуще воспламенялся, в братце бурлила отцовская кровь.

В пору золотой осени, когда на большом самолете я мчался по ясному небу в Москву учиться уму-разуму на литературных курсах, братец мой, Николай Петрович, вкупе с двумя напарниками бултыхался средь густых, уже набитых снегом, затяжелевших облаков в дребезжащем всеми железками гидросамолетике, держал курс на Таймыр – промышлять песца. Самолет лодочным брюхом плюхнулся на круглое безымянное озеро с пологими, почти голыми берегами, спугнув с него сбитых в стаи уток и гусей. Охотники соорудили плот из плавника, перевезли на нем провизию и вещи на берег. Летчики, настрелявшись всласть, собрали дичь с воды, пожали руки артельщикам, жаждущим охотничьего фарта, и улетели, чтобы прибыть сюда вновь в середине декабря тем же самолетиком, но уже переставленным на лыжи.

Старая подопревшая избушка, срубленная много лет назад на Дудыпте – одном из многочисленных притоков реки Пясины, нуждалась в большом ремонте. Напарники поручили Коле ставить сети, ловить рыбу на «накроху» и на еду себе и собакам, а сами принялись подрубать, латать и обихаживать зимовье.

Выметав две мережи: одну на озере, другую против избушки на Дудыпте, Коля принялся долбить яму, в которой надлежало запарить пойманную рыбу, дабы от нее распространялась вонь, и как можно ширше. Долго ли, коротко ли копал рыбак яму, но сети не давали ему покоя, хотелось узнать, что в них попалось. Он

спустился к Дудыпте – сети не видать. Ладно привязать охвостку догадался за камень на берегу, иначе не нашел бы мережи. Попробовал подтянуть сеть с плота – она не сдвинулась с места. «Зацепилась!» – огорчился Коля и начал перебираться по тетиве, пытаясь отцепить мережу, но как только отплыл от берега, взглянул вглубь, чуть с плота не сверзился – мережу утопила рыба! Втроем едва выволокли артельщики сеть из воды: нельмы, чиры, сиги, щуки зубатые – все рыба отборная. На полотне мережи обнаружились «окна» – человек пролезет! Решили мережу проверять проворней, иначе одни веревки от сети останутся.

На озере попалась жиром истекающая, толстоспинная пелядь и много сорной рыбешки. Постановили пелядь заготавливать на зиму, если время будет, и домой повялить этой вкусной рыбочки, остальной же весь улов на прикорм: хорошая накроха – половина дела в промысле песца ставными ловушками.

Две ямины забили накрохой старательные охотники, сами наелись до отвала жареной и копченой рыбки, жиру натопили бочонок, на глухую пору зимы да и от снежной слепоты рыбий жир – верное средство. Погода стояла ветреная, холодная, все вокруг прозрачно до хруста, накроха в яме не закисала. Только эта забота беспокоила охотников. Порешили: коль не сопреет рыба в ямах, доводить ее до вони в тепле избушки, пусть будет душина – стерпят. От безделицы шатались по тундре, голубику, кое-где на кустах оставшуюся, обдаивали, клюкву из моха выбирали. Верстах в десяти от зимовья, средь выветренных, болотом поглощенных скал островок лиственного леса, в нем краснела брызганка – брусника. Лесок с бабистыми комлями, изверченный, суковатый, изъеденный плесенью, брусника изморная, мелконькая, а все лакомство, все радость и от цинги спасение. Полную бочку ягод набрусили, водой ее отварной залили умельцы, чтоб не прокисла ягода без сахара, дров наплавили – всю зиму жечь не пережечь, бражонку на голубике завели, чтоб спирт не трогать до «настоящей» работы.

Удачно начался сезон, ничего не скажешь! Настроение у Коли и у молодого напарника Архипа боевое и даже шаловливое. Что ни прикажет старшой, парни со всех ног бросаются исполнять. Старшой в артели – человек бывалый, и войну и тюрьму прошел. В этих краях, у озера Пясино долбал мерзлую землю, хаживал с рыбаками в устье Енисея, нерпу и белугу промышлял возле Сопочной карги. Пробовал на лихтере шкипером плавать – не поглянулось: инвалидная работа, привык к жизни опасной, напряженной, беспокойная душа движенья, просторов и фарта жаждет.

Полные добрых предчувствий, молодые охотники бегали по тундре, шарились в лесочке, постреливали по озерам, рыбку в Дудыпте добывали, дрова ширикали – и все им хаханьки да прибаутки, и не замечали они – старшой день ото дня становился смурней и раздражительней. Парни над ним шутки шутили: как старшой на чурку сесть уцелится, они ее выкатят – бугор врастяжку, парни в хохот; а то ложку у старшого спрячут либо цигарку спичками начинят – старшой ее прикуривать, она ракетой изо рта! Вечерами, а они день ото дня становились темнее и длиннее, парни травили анекдоты и вслух мечтали: «Вот добудем песца, вылетим в Игарку и тебя, бугор, оженим на бабе, у которой семь пудов одна правая ляжка, тридцать два килограмма грудя! Смотри вперед смело, назад не обертывайся, то не горе, что позади!..»

«А то горе, что впереди! – подхватывал про себя старшой. – Верно, парни, верно. И как вы себя покажете?…»

В тундре мор лемминга, так по-научному зовется мышь-пеструшка – самый маленький и самый злой зверек на Севере; всему живому в тундре пеструшка – корм, даже губошлеп олень, попадись она ему, сжует и не задумается, а песцу-прожоре это главное питание. Несло мертвые тушки леммингов по реке, оттого и набилась в Дудыпту рыба – жирует. Еще в тот, в первый день, когда ошалелый Колька рыдающим голосом позвал их к сети, екнуло и заскулило у старшого сердце: не будет лемминга – не будет песца. Ход его, миграция, по-научному говоря, много таит всяких загадок, да навечно ясно и понятно одно: держится песец, как и всякая живая тварь, там, где еда. Не только проходной, но и местный песец откочует – голодной смерти кому охота?

При первых же заморозках, отковавших железную корку на земле и звонкий лед на озерах, появился широкий путаный нарыск зверьков по тундре. Песец выедал остатки лемминга, землеройку-мышь, отсталую больную птицу и все, что было еще живо и пахло мясом. Блудливые песцы сделали набеги на ямы с накрохой. Колька с Архипом весело гонялись за песцами, палили из ружей – десяток зверьков угрохали, крепко при этом подпортив шкурки. «Вот дак да! – ликовали парни. – Песец-то, песец-то на стан лазом лезет!»

И залез бы. Разорил запасы, голодом уморил охотников, если б старшой лопоух был. Он еще по первой пороше, осмотрев густую песцовую топанину вокруг зимовья, велел поднять весь провиант на чердак, крышки бочек придавить камнями, ямы с накрохой завалить булыжинами и плавником. Не доверяя беззаботным напарникам, старшой сам зорко стерег муку и соль. Расставив по

углам зимовья мышеловки, ударно промышлял мышей. И вот однажды мыши исчезли, смолк ночной воровской шорох, царапанье, бодрый писк, и тогда свалился старшой на нары, вытянулся, закинув руки за голову, не курил, не спал, не разговаривал, много томительного времени проведя в раздумье, обыденно, даже чересчур обыденно возвестил:

– Песца, парни, однако, не будет.

Охотники были сражены. Холодов ждали, ветров, одиночеством тяготились уже, но развеивались надеждой: «Вот пойдет песец, некогда скучать будет!»

– Не будет охоты, – беспощадно рубил старшой, – ходовый песец минет эти бескормные места, местный, прикончив мышей и все, что дается зубу, тоже откатится с Севера, пойдет колесить по земле в поисках корма.

– Что же теперь делать?

– Можно уйти, парни. Сделать нарту, погрузить продукты, запрячься в лямки, и, пока неглубоки снега…

– Сколько идти?

– Я как тут прежде охотился? Иду, а за мной ружья несут, – усмехнулся бугор, – и карт не выдавали…

Парни хоть и бесшабашны, но хватили кой-чего в жизни, о тундре наслышаны: идти много-много немереных километров, без палатки, без упряжных собак. Три дурака случайно, на ходу купленных, ловко ловили мышей, заполошно гоняли зайцев вокруг озера, рыскали по тундре, распугивая последнюю живность, жрали непроворотно рыбу, грызлись меж собой. Но и дураков двух уже не стало – одного порвала проходная стайка полярных волков, другой, водоплав и лихач, метнулся в полынью за уткой-подранком, до морозов державшейся на воде, и до того себя и утку загонял, что вконец обессилел, выползти наверх не мог, и его вместе с добычей в зубах затянуло под лед. Последнюю из трех собак старшой приказал беречь пуще глаза.

– Какое хоть время пройдем?

Раздражение, но пока еще, слава Богу, не враждебность. Старшой свернул цигарку, неторопливо прикурил и, сунув сучок в поддувало печки, долго не отрывал взгляда от красно полыхающего огня.

– И этого не знаю, парни, – вздохнул старшой. – Если пурги не будет, если идти изо всех сил, если не закружимся, если не перегрыземся, если удача от нас не отвернется, морокую, за полмесяца дойдем… – Говоря негромко, но внятно, старшой особо напирал на «если», будто кружком его обводил, заставляя вслушиваться, взвешивать, соображать.

– Если… если… – уловив смуту в словах старшого, заворчали парни, и тон у них такой, будто надул их бугор и во всем виновен перед ними. А виноват и есть! Насулил, губы мазнул отравой фарта, подзадорил, растревожил – и что?! Чувство неприязни, желание свалить на кого-то пока еще не беду, всего лишь неудачу забрезжило и во взглядах, и в разговорах молодых охотников. Разъедающая ржавчина отчуждения коснулась парней, начала свою медленную разрушительную работу. Сами они пока не понимают, что это такое, пока еще «каприз» движет ими – конфетку вот посулили и не дали, а не чувство смертельной опасности. Смутная тревога беспокоила парней, но они подавляли ее в себе, раздражаясь от этого непредвиденного и бесполезного, как им казалось, усилия. Они готовились к работе, ими двигало приподнятое чувство ожидаемой удачи, охотничьего чуда, но в зимней, одноликой и немой тундре даже удачный промысел не излечивает от покинутости и тоски. Случалось, опытные промысловики переставали выходить к ловушкам. Оцинжав, заваливались на нары и, подавленные душевным гнетом, потеряв веру в то, что где-то в миру есть еще жизнь и люди, равнодушно и тупо мозгли в одиночестве, погружаясь в марь вязкого сна, дальше и дальше уплывая в беспредельную тишину, избавляющую от забот и тревог, а главное, от тоски, засасывающей человека болотной чарусой. Старшой и пошел оттого артельно на промысел – трое не двое, будет людней, будет бодрей, да и парни вроде не балованные, трудовые парни, крепкой кости, брыкливые, веселые – пойди песец, не отвернись от них удача, перемогли бы и тундру и зиму.

– А если останемся? – дошел до старшого настойчивый вопрос. Парни могли еще позволять себе досадовать, вроде бы он, старшой, мамка им, а мамка же на то и мамка, чтоб терпеть от детей своих наветы, обиды да отводить напасти от них и от дома.

– Если останемся? – переспросил старшой и замолк. Парни ему не мешали. Некуда торопиться. Дотянув цигарку, бугор не растоптал ее на полу, как напарники, заплевал чинарик и опустил в ржавую консервную банку, будто в копилку, – навечно въевшаяся привычка бродячего человека дорожить на зимовье не только каждой крохой хлеба, но и табачиной. Поднялся старшой от печки, согнулся под потолком, щедровитое лицо его, будто вытопленное, обвисло складками – разом постарел бугор. В себя ушедшим взглядом старшой скользнул по оконцу – бело за ним, снега полого и бескрайно лежат, средь них избушка одиноким челном плывет, ни берега вокруг, ни пристанища – пустота кругом. Ступи с палубы этого челна, обвалишься и вечно будешь лететь, лететь… – Кто его, зверя, знает, ребята, тварь Богова… Может, и пойдет еще? – Старшой говорил вяло, словно не о главном, словно главное на уме: он перестал лаяться, не употреблял даже слова «черт» – иная, чем прежде, мораль двигала старшим. – В тридцать девятом году взял песец и через станки и населенные пункты пошел. В Игарке на помойках ловили его, обормота, бабы-укладчицы на лесобирже меж штабелей гоняли, досками грохали… Загадка природы. – Сгорбился у печки бугор, кряхтел, курил. В избушке слой дыма, что окуневый студень – хоть ножом режь… – Ну а если песец не пойдет… Можем и постреляться…

– Как так?

– Очень просто, из ружей. – Старшой почесал голову. – Не растолковать мне. Маетой такая штукенция рождается… Решать надо: уходить, так не мешкая, останемся – разговор отдельный будет. На размышления вечер. Разбежимся в разные стороны, пораскинем умом. Крепко мозгуйте, парни, напрягите башки, коли есть чего в них напрягать…

Весь вечер бродили парни по тундре, ночи прихватили. Погодка стояла самый раз, безветренная, морозец покалывал, прочищал ноздри, глотку, легчил душу и голову. Вольно было застоявшемуся телу двигаться, катиться, лететь на лыжах, видно так далеко, что земля и на самом деле шаром вдали закруглялась, на горбине шара ровно бы сторожевые вышки мерцали заледенелыми оконцами – то сверкал лед на приморских скалах. И если долго на них смотреть – скалы начинали двигаться, рассыпаться. Над оледенелыми камнями морского побережья ненадолго зависло солнце, ровно бы лишним сделавшееся на небе. Висело, висело и исчезло. Не закатилось, не опало за горизонт, вот именно исчезло – его вобрал в себя без остатка, всосал, как старую, измызганную пустышку, узенький красноватый зев, приоткрывшийся над скалами, и тут же

все: и онемелая аленькая щель, и скалы, и белые снега, над которыми какое-то время еще трепетал, догорал красный клок неба, заволокло сгустившимся мороком.

Тундра погрузилась в глубокую тишину. Тени, пока еще недвижные и тоже бесшумные, опустились на нее сверху, придавили свет, сжали пространство. «Солнце закатилось до весны», – догадались зимовщики, и у каждого из них сердце сжалось в груди, холодом ни на что не похожей разлуки опахнуло нутро, и такое осязаемое чувство беспросветности охватило души охотников, что они, бродившие нарозь друг от друга, не сговариваясь, порешили: «Уходим!»

Но в тундре что-то шевельнулось, стронулись снега, закачалось пространство вокруг, то там, то тут начало чиркать искрами, и небо, только что мутное, грузное, пустое, вдруг растворило врата прозрачным и переменчивым светом. Жуть и восторг охватывали душу. Надо бы бежать, но не было над собой власти. Середь ночной сверкающей тундры, опершись на таяк, стоял Коля, стоял Архип, стоял подле избушки старшой, и все они улыбались растерянно и приветно, не понимая: что с ними, отчего такое облегчение?

К зимовью охотники вернулись разом, в позднее для этих мест время. Навстречу вывалился кобель Шабурко – звался он по фамилии хозяина в отместку за то, что слупил с охотников неслыханную цену, пользуясь их безвыходным положением.

Дыша холодным паром, парни ввалились в избушку и в один голос заявили:

– Остаемся!

– Остаться не напасть, да кабы, оставшись, не пропасть.

– Ни хрена-а! Не мы первые, не мы последние. Че нам без добычи уходить? Манатки бросать? Неустойку платить?…

– Ну, ну! Колефтиф настаивает. Колефтиф – сила!

Разогрев еду, старшой достал из запасов поллитру спирта, молча налил полную кружку, вынул нож из ножен, полоснул по руке, кровью спирт разбавил. «Начинается!.. – Лица парней вытянулись, под кожей холод захрустел. –

Накатило на старшого. Все они, эти „бывшие“, люди потрясенные и чего им на ум придет – угадай попробуй!» Цап Кольку за руку, чирк ножом по пальцу, кровь отцеживает Колькину в кружку старшой.

Архип побелел, к двери попятился, чтобы рвануть из избушки, да не успел, старшой его перехватил, тоже ему палец порезал.

Побурел спирт от крови, отвратным на вид сделался. Затосковали парни, ждут: чего дальше будет? Старшой примочил ранки спиртом, велел забинтовать пальцы, зажег свечу и, капая воском во все четыре угла зимовья, забормотал жуткую запуку: «В добрый час молвить, в худой помолчать. На густой лет, на большую воду, на свою и товаришшэв алу горячу кровь, на свой чистый подложечный пот, на живу душу слово намолвлю: пустоглаза тоска, змея костна – цинга, люто голодное, люто холодное – миньте нас, киньте нас, уйдите на посолонь, закружитесь по ветру, растопитесь от воску ярого, ослепните от огня бегучего, оглохните от слова клятвенного, околейте от креста святого! Кто белгорюч камень – Алатырь изгложет, тот мой заговор переможет! Ни днем, ни ночью, ни по утренней заре, ни по вечерней, ни в обыден, ни мужик, ни колдун с колдуньей, ни баба, ни пожилой, ни старый, ни сама тундряная ведьма с тем словом моим, заклятым, верным не совладают, не перемогнут его. Аминь!..»

Прилепил старшой свечу к столу, умолк в изнеможении. Избушка осветилась, бодрее в ней сделалось, не то что от лучины и печки. Керосин и свечи берегли, освещались сподручными средствами, жгли чаще тряпицу в рыбьем жире. Парни на нары забрались, ноги поджали, во все глаза глядят на старшого. А он разлил спирт по кружкам, приказал двигаться к столу, поднять кружки, держать их на весу и глядеть в глаза друг дружке, пока он, старшой, будет творить клятву, и все слова повторять следом.

Парни сперва с пугливой ухмылкой, как филины, булькали, рыгали какую-то присказку насчет моря-океана, острова Буяна, зверя рыскучего, снега сыпучего, но поворотилось и на серьез:

– Будет ли, не будет ли удача – жить союзно. Поглянется, не поглянется какое слово старшого – не прекословить и зла никакого друг на дружку не копить. Все выкладай: худое ли, хорошее. День кончился, ночь пошла. Снегу на зимовье наметет – могила. Работать, двигаться и разговаривать, разговаривать. Время гиблое, не вступ ногу жить, гибель, стало быть. Долбить корыта в пастях и кулемах, если зверек попадет, не плющило б его, не погрызли б другие зверьки

и мыши. Ловушек ставить больше, навального песца не будет, следует его стараньем брать, накрохи не жалеть, пусть воняет, живность приваживает. Свету мало – пятнышко за сутки, значит, бегать быстро, но беречь себя, не запариваться, один простынет, захворает – хана всем. Договор наш кровью скреплен, такой договор смертельный.

Добыть бы жильной крови, выпить гольную, да, вас жалеючи, не стал тела молодые уродовать… – Старшой покидал щепоткой пальцы над кружкой, хукнул, отбрасывая из себя воздух, выплеснул наговорное зелье в рот, утерся рукой, зажевал питье подвяленным хвостом пелядки. Молодые его связчики с отвращением выпили розовый от крови спирт, передернулись, захрустели рыбой.

– Да, вот еще что, парни, – подождав, когда они отдышатся и закусят, продолжал старшой, – соленого много не лопать, снег не хапать, с хлебом аккуратней – стряпаете, мучкой сорите. Шабурку на норму! Распустил пузо, что генерал! И помните всякий час, всякую минуту: в тундре заблудиться страшнее, чем в нехоженой тайге.

– Да ладно, – остановили они старшого, – хватит права-то качать!

И потекли часы, складывающиеся в длинные сутки, сутки в еще более долгие недели. Песец не шел. Попалось в пасти две лисы, пустобрюхих, костлявых, в худошерстной шкуре; призаблудился как-то горностай – занесло его в лесок, заваленный снегом до колючих вершин. По берегам Дудыпты и возле озера хорошо ловилась куропатка в силки, пока не задавило сугробами стланики. Но начались метели, и кончилась всякая работа. Забавлялись полярными совами. Воткнут в тундре шест или палку, на верхушку капкан приладят – сова видит в ночи и в пургу, не облетит никакую мету – ей тоже хочется на чем-нибудь твердом посидеть, покрасоваться. Ели сов. Не куропатка, конечно, мясо горчит, горелой овчиной или мышами пахнет, зато пуху, пуху от совы, пенистого, легкого – вороха! Вот бы радости бабам, да где они, бабы-то?

Залегла зима по Пясине, по Дудыпте, по всему Таймыру, сровняла снегом впадины речек с берегами, ухни – напурхаешься, пока вылезешь. Снег еще не перемерз, рыхлый, еще лицо до крови не сечет, слава Богу. Маячившие у приморья скалы растворила, вобрала в себя все та же безгласная ночь. Лесок, островком ершившийся средь тундры, захоронило снегом. Переливались, искрили до рези в глазах снега, да небо чем дальше в зиму, тем живее светилось

и двигалось. Но уже не пугало и не завораживало северное сияние охотников, да и достигало оно земли все реже и слабей – подступала пора диких, вольных ветров и обвальных метелей. В распогодье охотники спешили при свете позарей пробежаться по ловушкам, со слабо теплящейся надеждой на удачу. Вот и ухнула полярная метель, загнала промысловиков в зимовье, запечатала их в избушке, залепила окно, закупорила дверь, загнала в снежный забой. Лишь труба стойко торчала из снега, соря по ветру искрами, клубя низкий живой дымок.

Время двигалось еле-еле, разговаривать охотникам не о чем – все переговорили; делать по дому нечего – все переделали, а ветер все дичей, яростней. Подняло снег над тундрой, воедино слились земля и небо, вместе кружась, летели они в какие-то пространствия, где никакой тверди нет, и охотничья избушка, стиснутая снегами, выплевывая трубою дым, тоже летела, вертелась средь воя, свиста и лешачьего хохота. В замороженном окне едва приметным бликом шевелился отсвет печного огня, тыкался жучком туда-сюда, отыскивая щелку в толстых натеках льда, и эта капелька света, эта звездочка, проткнувшаяся в кромешную тьму, и напоминала о стойком существовании мироздания.

Время суток – день, ночь определялись по часам да еще по Шабурке. Заспавшийся в избушке кобелишка раз в сутки просился на волю и к такой же норме приучал своих хозяев, которые безвольно погружались в молчаливость, расслаблялись от безделья, ленились отгребать снег от избушки, подметать пол и даже варить еду. Старшой за шкирку стаскивал покрученников с нар, заставлял заниматься физзарядкой, придумывал заделье или повествовал о своей жизни, и такая она у него оказалась содержательная, столькими приключениями наполненная, что хватило рассказов надолго. Парни слушали и дивились: сколь может повидать, пережить, изведать один человек, и советовали старшому, пока делать нечего, «составить роман» на бумаге. Старшой соглашался, да бумаги-то в избушке мало, всего несколько тетрадок, потом уж, на старости лет, как-нибудь засядет составлять роман, а пока слушай, парни, дальше.

Лютая зима, ветер, пронзающий не только тело, но и душу, приучают всякие необходимые отправления делать по-птичьи, почти на лету. Архип не мог приноровиться к такому вихревому режиму, трудно все в него входило, еще трудней выходило. Он до того застывал на ветру, что заскакивал в зимовье со штанами в беремя, не в силах уже застегнуть их. Однажды и вовсе подзадержался Архип на воле. Старшой выслал Колю за напарником.

Набрасывая на плечи телогрейку, Коля стал полниться нежданным гневом: «Разорвало б обжору! Нашел время рассиживаться! Садану дрыном по хребту – будет знать!»

В промысловую бригаду затащил Архипа Коля. Работали они вместе в таксопарке: один шофером, другой слесарем, Архип – выходец из старообрядцев, хотя медлителен умом и на руку не спор, но работящ, бережлив, по возможности на свое не выпьет. Надежным, крепким, главное, послушным артельщиком казался Архип и неожиданно первым помутнел, чаще и чаще огрызается, поссориться норовит. Поначалу справлялись с собой Коля и бугор, старались не обращать внимания на брюзгу с таким редким, древним именем. Но вот стало чем-то их задевать все в Архипе, даже имя его, которым прежде потешались, сделалось им неприятно.

Архипа возле зимовья не оказалось. Коля взухал раз, другой. Голос его словно бы отламывало ото рта и тут же закручивало ветром, глушило снегом. Старшой, услышав крик, зарычал, подпрыгнул, шапку надернул, Шабурку выбросил из-под нар в снеговую круговерть, сам метнулся следом, зверски матерясь.

Шабурка мигом отыскал Архипа. Стоит охотничек за избушкой, придерживает штаны, набитые снегом, пробует орать, но хайло снегом запечатывает. Закружился в пурге младой охотник, добро, что не метался, не бегал, потеряв избушку, иначе пропал бы.

Велико ли время прошло, да успел ознобить кое-что Архип, рот его скипелся, даже зубы не стучали, только мычанье слышалось и слезы текли из глаз.

Загнанно, панически дыша, заволокли напарники Архипа в зимовье, свалили на нары, принялись оттирать. Отогрелся, отошел Архип. Старшой ему «Отче наш» в назидание и приказ всей артели: пока ветродурь не кончится, ходить в лохань. Простая такая операция получалась лишь у старшого. Парни мучились, стыдясь друг дружки. Тот, кто бывал в больницах и госпиталях «лежачим», ведает, что насильственная эта штука хуже всякой кары.

Первым снова не выдержал и осердился Архип.

– Привык к параше! И сиди на ней! – заорал он и засобирался на улицу, забыв, как замерзал совсем недавно, волком выл, когда его оттирали. Коля солидарно с

Архипом тоже шапчонку на голову, тоже на волю. Старшой прыгнул к двери, закрутил в кулаки телогрейки на парнях.

– Обсоски! – рычал он, вызверившись. – Из снега выкапывать вас, красивеньких, беленьких?! – И, отшвырнув обоих к нарам, пнул еще, не больно пнул, но остервенело, да и бранил их много, совсем как-то обидно, ровно мальчишек, и до того увлекся этим развлечением, что вывел из себя Архипа. Набычился, всхрапнул старовер и молча пошел на старшого.

Будто смертельные враги, сошлись артельщики средь избушки, схватились, испластали вмиг друг на дружке рубахи, рычали по-собачьи, хватались за горло, царапались, хрястали кулаками во что попало. Брызнула, закипела на печке кровь, запахло горелым мясом.

– Мужики-и-и! – закричал Коля, втискиваясь меж связчиками. Но где ему, заморышу, совладать с двумя здоровенными лбами, которые так ломали друг дружку, что трещали кости. До пояса голые, в кровящих царапинах, молча тилищутся – ни матюка привычного, ни ора, лишь храп, рычанье – звери и звери.

Плошка упала, погасла. Темнынь в избушке, ветер лютует за дверью, и лютуют во тьме два артельщика.

– Мужики-и-и-и! – закричал громче прежнего и заплакал Коля. – Мужики! Опомнитесь! Мужики-и-и!.. Лю-уди! Карау-ул!..

Сверкнул и вывалился из печки огонь. Избушка наполнилась дымом – своротили печку обормоты и враз отпрянули от огня, трезвея. Коля заливал головешки из чайника натаянным снегом.

– Балды! Суки! Заразы! – все кричал он и плакал. – Сгорим в тундре, что тогда?!

Старшой забрался на нары, забился в угол, натянул на себя одеяло. Архип кашлял от дыма до сблева, сипел, тужась что-то сказать, непримиримо тыкая пальцем туда, где таился старшой. Коля водружал железную печку на место, в ящик с землею.

– Всер-р-равно, всер-р-равно… Он меня… Я его… – разобрал он.

– Че буровишь-то? Совсем уже того?! – потыкал Коля себя пальцем в висок и неожиданно хватанул Архипа так, что тот оказался за мерзло крякнувшей дверью. – Остынь, недоумок! – Собрав в печку чадящие головешки, выпустив пар и дым из зимовья, Коля откашлялся, высморкался и, утирая подолом рубахи грязное от сажи и слез лицо, с горестным ожесточением обратился к старшому: – А ты-то, ты-то! Сурьезный человек! За коллектив, пусть и махонький, ответственный…

Старшой шевельнулся на нарах, прошуршал пересохшей осокой, отыскивая одежонку, спустился на пол, знаком показал на чайник – полить. Умыв разбитое лицо, начал утираться тряпицей.

– Не окажись воды, – шевельнул Коля чайником, – погорели б и, как псы, подохли средь тундры.

– Худо, Колька, худо… Н-на, худо, Колька, худо. Началось! Позови-ка эту жертву неудачного аборта, простудится, остолоп!..

Сошлись в одной избушке артельщики, деваться некуда. Не разговаривают, от папироски друг у дружки не прикуривают, принципиальные. Рожи у обоих запухли, темными синяками наливаются, экая красотища! Натешились, измордовали друг дружку, разрядили злобу. Что-то дальше будет?…

Сварив еду, Коля достал с чердака избушки из неприкосновенного запаса бутылку спирта, развел, в кружки налил и, как сердитая, но все понимающая, добросердечная хозяйка, велел чокнуться и выпить мировую.

Чокнулись, выпили. Коля хоть и натянуто, но уже с некоторыми облегчением и искательностью рассмеялся:

– Э-эх вы-ы!

Старшой стиснул рукой лицо, будто стирая с него что-то, провел сверху вниз.

– Бывает! – сказал покаянно. – Да больше не надо.

Архип тоже что-то буркнул и отвернулся. Выпили еще по малой, пытались заговорить. Однако разговор увязал, рвался. Нарушилась душевная связь людей, их не объединяло главное в жизни – работа. Они надоели, обрыдли друг другу, и недовольство, злость копились помимо их воли.

Но бывает конец пурге и в тундре. Проснулись утром – тишина, да такая оглушающая после, казалось, уж вечного воя ветра, бряканья трубы, гула снежных туч, что и тревожно от нее. Старшой вышел на волю, заорал, шапку подбросил, пнул ее, поймал Шабурку, катнулся в обнимку с ним по снегу.

Охотники разбрелись в разные стороны откапывать ловушки. Снега сделались глубоки, пурга была долгая. Песцы в поисках корма начнут теперь делать кругаля по всей тундре, глядишь, и этих мест не минуют. Врали, обманывали сами себя покрученники – надо было верить во что-то, и они убеждали себя: будет, будет удача, пусть и запоздалая.

Задыхаясь жидким воздухом – выдуло из него ветром кислород, стужей выбило сырость из снега, в коловерти пурги выварило из него клейковину, охотники бродили по тундре, отыскивали захороненные в забоях ловушки и, к удивлению своему, немало их откопали. Совы, чуя корм под снегом, разрывали наметы, наводили на места. Мало только осталось возле Дудыпты сов, переловили их охотники капканами, свели беззаботно, теперь хватились, да уж делу не помочь.

Коля придумал себе занятие: волочь на истоплю жаркий витой кряжик. Лесок был по маковку завален снегом, приходилось много трудиться, прежде чем откопаешь лыжиной суховерхое деревце со стеклянно– хрупкими от мороза сучками, с прикипелой к плоти дерева болонью и корой, под которой остановился сок. Коля тюкал топором деревце. К лезвию топора белым жиром липла смола лиственницы, тонкими паутинками пронизывающая годовые, вплотную притиснутые кольца, не давала загаснуть дыханию, с лета поднявшемуся по неглубоким, но жилистым корням. Мал лесок, всего островок крохотный, и веток живых на каждом деревце с пяток, не больше, а раскопаешь снег до земли, хвоя лежит, пусть тоненько, пусть на плесень похоже, а все напоминание о лете, о тайге. Лес жил, боролся за себя, шел вперед на север, к студеному океану. Рубить его вот как жалко. Коля выбирал деревца сломленные, полузасохшие, отбитые от табунка. Свалив лиственку, садился на вздутый комелек, отдыхивался, думая о сложности всякой жизни, о том, какая идет везде тяжкая борьба за существование.

Сделав из толстой веревки петлю, Коля надевал ее через плечо и, ширкая камусными лыжами, пер к избушке сутунок по уже хорошо накатанной лыжне, радуясь тому, что пурги нет и, может, она не скоро будет, что поработал он хорошо, что наколупают они с лиственницы серы, вытопят ее в склянке, жевать станут – все для зубов работа. Пожалуй, следует выдолбить прорубь на Дудыпте, наносить воды, натопить зимовье и побаниться – не хватало завшиветь – последнее это дело.

По полному безмолвию, по усиливающемуся морозу и скрипу снега под лыжами, по ярким, из края в край, сполохам можно было предположить – межпогодье еще продержится и, стало быть, передышка им будет. Ночь морозна, светла до того, что все впереди видно. Да что видеть-то? Снег и снег. Даже вилючую ленту речки Дудыпты и озеро застругало пургою вровень с тундрой, лишь местами, сдавленный, серел снежок с подветренной, полуденной стороны, означая крутой поворот речки или подмытый берег. Вокруг озера, как бы на всплеске, остановились гребни снега – замело кусты стлаников. Оборони Бог задуматься, заскочить лыжами на вороха эти, хуже того, на изгиб речки – обрушишься, и потечет снег, что песок, заживо хоронить станет. Бухайся, раскалывайся тогда, тори траншею, коль силы есть.

В белой тишине тундры, тенистой, зеркально-шевелящейся от сияния, охватывает блажь, являются видения: судно с мачтами и драными парусами, узкомордый белый медведь с безгласно раззявленной пастью, нарта с упряжкой оленей, на нарте знакомый еще по Плахино эвенк Ульчин. Сидит бойе с хореем, куржак обметал его плоскую мордаху, черненькие глазки радушно светятся из белого, однако хореем не шевелит, губами не чмокает, «мод-модо» не кричит, олени не фыркают, не взбивают снег. Плывут олени, да лыбится глазками бойе. «Сгинь, Ульчин, сгинь! – боязливо открещивался Коля. – Ты умер, еще когда мы всей семьей в Плахино зимогорили. Ты с папкой вино жрал. Думаешь, забыл?…»

Однажды увидел Коля собаку – остановилась в отдалении, белая с серым крапом на ногах, ждет, приветно хвостом пошевеливает. Знакомая собака, очень. Дрогнуло сердце: «Боё! Боё! Боё!» Коля сбросил лямку, подхватился, побежал – нет собаки, бугорок вместо собаки. Страсти-то! Коля вытер со лба пот, хотел перекреститься – не знает, с какого места начинать.

Больше всего он опасался повстречать шаманку. Бродит шаманка по тундре давно, в белой парке из выпоротков, в белой заячьей шапочке, в белых мохнатых рукавичках. За нею белый олень с серебряными рогами следует по пятам,

головой покачивает, шаркунцами позвякивает. Шаманка жениха ищет, плачет ночами, воет, зовет жениха и никак не дозовется, потому и чарует любого встречного мужика. Чтобы жених не дознался о грехах ее сладострастных, до смерти замучив мужика ласками, шаманка зарывает его в снег. К человеческому жилью шаманка близко не подходит, боится тепла. Сердце ее тундрой, мерзлой землей рождено, оледенелое сердце, может растаять.

Сказочку такую парням поведал старшой, и поступил, как потом оказалось, опрометчиво. Парни скабрезничали, постанывали, валяясь на нарах: «Э-э, сюда бы счас шаманочку-то!..»

– Не блажите-ка, не блажите! – испуганно таращил глаза старшой и наставлял: – Чурайтесь, некрещеные морды! Навязчивы такие штукенции, еще накличете…

Шаманка явилась, когда Коля пер из леска сутунок и видел, как пыльно разбухающим облаком теснит, отжимает с неба мерцающий свет позарей. Впереди нет-нет да и вытеребит белое перышко, полетит оно, кружась и перевертываясь. Следом пушок сорится, мелконький пушок, горстка его, но сердцу тревожно – нарождается пурга. Легкое, пробное пока еще движение началось по тундре, небо пучится, набухает темной силой. Коля налег на лямку, напрягся и, частыми, мелкими глотками схлебывая воздух, проворней заширкал лыжами, низко наклонившись головой, подавшись вперед всем телом – так вроде бы легче и скорее идется. Но вот раз-другой что-то продрожало в глазах, снег начал красно плыть, густо искриться, в ушах пронзительно зазвенело – воздух, разреженный воздух северных широт угнетал организм – нужна передышка. Коля остановился. Раскатившееся бревнышко толкнуло в запятки лыж, снег гас, звон из ушей отваливал, дыхание выравнивалось.

И в это время из переменчивого, нервно дрожащего света, из волн позарей, катающихся по одной уже половине неба, выплыла ОНА и, не касаясь расшитыми бакарями снега, вовсе даже не перебирая ногами, стала приближаться, бессловесная, распрекрасная. Вытянутые раскосые глаза ее светились призывно и печально, лик бледен – дитя белой тундры. Может, болело что внутри, сердце, может, худое, порок, может, в нем какой? Поймав себя на том, что он думает о шаманке как о живом, на самом деле существующем человеке, Коля громко кашлянул, нарочито грязно выругался, сплюнул под ноги пренебрежительно и поспешил к зимовью, которое было уже близко, стараясь не поднимать головы и не оглядываться, хотя и коробило спину, казалось, вот-вот вцепится шаманка пальцами в воротник, что тогда делать? Голова сама собой

утягивалась в одежду, ноги дрожали в коленях, рвался дых. Только возле дверей избушки охотник оглянулся и заметил призрачно удаляющуюся шаманку. Поймав его взгляд, она приостановилась и, перед тем как раствориться в снегах, вознестись на волнах позарей ввысь, слабо ему и укоризненно улыбнулась. Голубой свет, пронизывающий сгустившуюся ночь, сочился из ее груди, и видно сделалось ее сердце, похожее на ушастого зайчонка, сжавшегося в комочек, чуть вздрагивающего под набегающими порывами ветра.

Сбросив лыжи и лямку, Коля поскорее заскочил в избушку, вытер лоб, в изнеможении упал на чурбак возле печки.

«Кто за тобой гнался-то?» – взглядом спрашивал старшой, и, чтобы не пускаться в объяснения, Коля поскорее начал переодеваться. Одежда мокра, пар валил из-под рубахи. «Не надо бы так потеть», – вяло подумалось ему.

Коля ничего не сказал связчикам о шаманке, полагая, пока пережидают пургу, отсиживаются в избушке, наваждение уйдет, и даже самому себе боялся признаться в том, что он этого не хотел, ревниво пас в себе видение, спал неспокойно, сделался потаенным и, едва кончилась пурга, засобирался в тундру. И вдруг заметил: его связчик, тихоходный и тугодумный Архип, мечется по избушке, чего-то ищет, куда-то торопится, бросая шалые взгляды в звенышко обметанного морозом оконца. «А что, если ему она тоже явилась?! – ожгла ревнивая подозрительность Колю. – Убью! Застрелю! Не дам!..»

– Вы чего, молодцы? Чего? Вроде как не в себе? – забеспокоился старшой. – Уж не шаманка ли блазнится? Наплел я вам. Вот дурак так дурак! Креститесь, беситесь, орите, из ружья палите, топором рубите, но не поддавайтесь. Болезнь это, ребята, жуткая болезнь…

Обман. Мираж. Болезнь. Ну и пусть! В сравнении с дивным видением, сулящим что-то тайное, небывалое, жизнь, которую они влачили, так опостылела, что не было никакой охоты бороться за нее. Молодцы желали перемен, какого-то действия, яростная плоть при одной только мысли о шаманке возжигалась в парнях, толкала на безрассудство.

И, отчетливо сознавая, что делать этого нельзя, однажды Коля сбросил с себя лямку, вытащил ноги из круглых креплений лыж, почему-то поставил их торчмя и успел еще отметить: лыжи похожи сделались на страшных змей кобр со

злобно раздутыми шеями, которых он видел в кино, когда служил в армии, – им почти каждый день показывали кино. Э-эх, армия, друзья, люди, города, дома, огни, машины! Где они? Были ль они?

Опираясь на таяк, он двигался к шаманке, а она пятилась от него, увертывалась. Он ее хватал, горячо нашептывал ей русские и эвенкийские нежные слова. Она понимала их, похихикивала, играла глазками. Совсем он ее заморочил, настиг, схватил за косу, но мягко отделилась коса от головы шаманки, и так с вытянутой, крепко сжатой рукой Коля обвалился под яр Дудыпты и лежал какое-то время ничком в снегу, и плыл куда-то вместе с осыпью, не веря обману. Снег все накатывался, накатывался сверху, перемерзлый, сыпучий. Он заполнял, сравнивал всякий бугорок, всякую выбоину. Забарахтался, забился человек, потерявший желание думать и бороться, когда наконец увидел над собой, на урезе Дудыпты собаку, все ту же, белую, с серым крапом на лапах и голове, родную, верную собаку.

– Боё! Боё! Боё! – Человек скребся, плыл по снегу к собаке. Поскуливая, руля хвостом, собака ползла встречь ему, и вместе с нею полз, двигался снег, из которого выметнулась вдруг и ткнулась острием в лицо лыжина. Человек ее схватил, подсунул под себя и, как в детстве на дощечке, погребся наперекор течению, сквозь этот бесконечно двигающийся снег. – Боё! Боё!.. Боё!.. – Но собаки нигде уже не было, зато вот она, вторая лыжа. Откопав ее, человек прилег, свернулся бочком на двух лыжах, мокрый, насквозь пронизаемый стужей и ветром, он грел дыханием руки. В разрывах ветра ему почудились крики, лай, тупые стуки. «Стреляют! Ружье!» Не в силах снять ружье со спины, он нащупал сзади гладкую ложу, отвел не пальцами, а всей ладонью курок, засунул в скобу ничего уже не чувствующий палец, отодвинул ствол от затылка в сторону и надавил на железо. У левого уха метнулось пламя, ахнул гром, голову откинуло волной выстрела, ухо словно бы забило пыжом, ноги стрелка подогнулись, и он упал поперек лыж…

Болезнь напарника напугала и объединила старшого с Архипом. Последнее время они уже не просто грызлись, а хватались за ружья и топоры. Коля понимал: наступит срок, и ему будет не разнять связчиков, не справиться с двумя осатанелыми мужиками, кто-то кого-то из них порешит или он их из ружья обоих положит – такая думка ему тоже голову посверливала – не уговаривать, не разнимать, не нянькаться с дубарями, а всадить по пуле каждому – и пропадай все, гибель так гибель, суд так суд – не они первые, не они последние на зимовках стреляются…

Лечили Колю артельщики напористо: жарили докрасна печку, обмазывали больного горчицей, вливали ему в жаркий рот спирта, капали в питье растопленной серы, бросали в кружку горячую монету – серебрушку. Коля метался на нарах, кричал: «Ё!.. Ё!.. Ё!..»

– Чего это он?

– Не знаю, – Архип шарил в затылке, припоминая, – собаку, может? Собака у него была, Бойе…

– Собаку? Собаку – хорошо! Собака – друг.

Гнали охотники пот аспирином из больного, компрессами, бутылками с горячей водой и достигли своего – температуру сбили, простуду напрочь выгнали, но при этом надсадили не очень-то крепкое сердце напарника. Старшой знал все: как выгонять простуду, как делать из хлебного мякиша смесь и по самодельным трафаретам изготавливать карты, из обломка железа ножик, из куска жести котелок, из кости зажигалку. Он мог сварить суп из топора, сготовить гуляш из подметок, шить без ниток, стирать без мыла, коптить рыбу, чтоб дым не видно, сушить мясо, чтоб запаху не слышно, спасаться от цинги хвоей, строить землянку без топора и выделать для нее олений пузырь руками, мертвую собаку превратить в живое чучело. Не знал и не ведал старшой, как и чем лечить сердце – в его жизни сердцем заниматься было недосуг, хоть бы грешное тело сохранить. Где-то слышал или умом своим гибким и проницательным старшой допер: при больном сердце надо меньше шевелиться, не бултыхать нутром, и, глядишь, оно, ретивое, успокоится, наберет силу, выровняет ход. Архипу, испуганному и послушному, старшой приказал носить дрова с накрошных ям, складывать их кострами неподалеку от зимовья, не палить в лампе керосин, обходиться лучиной, рыбьим жиром и только в крайнем случае жечь свечи.

Артельщики ждали самолет. Фартовой охоты больше никто не ждал. Как-то принес Архип песца, тощего, маленького, с сырой, ровно бы присоленной, шкуркой. Кости в шкурке словно истолчены. Голова зверька расклевана совами, пусто темнели глазницы, в щелях голенького черепа бурела сохлая кровь – в тундре свирепствовал голод, начался падеж.

«Смерть! Вот она какая!» Горло больного задергалось, напряглись жилы на шее, распахнулся сморщенный рот, оголив сочащиеся красным, цинготные десны.

– Боюся-а-а!..

Издали донеслось:

– Ничего, Миколаха, ничего… Держись! Мы с тобою! Мы не оставим…

В декабре, как было оговорено, самолет не пришел. Надеялись, верили – к Новому-то году обязательно будет самолет. Маковку зимы посыпало дурным снегом, справила новогодье свирепая пурга, пошатала избушку, побрякала трубой, помучила людей и природу всласть, но как только унялась пурга, зачуфыркал в небе самолетик. Сперва он «промазал» избушку, устремился резво к морю, состывшемуся с берегом и тундрой, где и разбиться мог о скалы, заметенные снегом, но Архип такие костры запалил, наплескав керосину на дрова, а старшой так бабахал из ружей, что самолет дрогнул и завернул на второй круг. Увидев сигнал, снизился, покачал крылами и, чтобы не ковырнуться кверху брюхом, опробовал лыжами снег, скользнув над самой землею. Архип попеременке со старшим все время утрамбовывали и прикатывали снег самодельными катками, изготовленными из сутунков, натасканных Колей, как будто ведал малый, что они сгодятся.

Благополучно приземлившись, самолетик покрутил пропеллером, уркнул, чихнул и замер. Зная, как их везде ждут, пилоты, улыбаясь, вышли наружу и узрели картину: на снегу сидят два здоровенных ознобленных мужика и плачут. Через порог зимовья перевалился изможденный парнишка в нижней, просторной для него рубахе и ровно в тайге кого-то кличет:

– Ё! Ё! Ё!..

Остаток зимы Коля пролежал в краевой больнице, получил группу инвалидности, какую дают лишь кандидатам в покойники – первую, но не сдался смерти, вылечился тайгой, рекой, свежей рыбой, дичиной, и скоро перевели его на третью группу. Окрепнув здоровьем, он выехал из Игарки к родичам жены, в старинный приенисейский поселок Чуш, поступил работать в рыбкооп шофером.

Однажды мы всей семьей собрались и поехали в гости к братану. Как и в прежние годы, был он бегуч, суетлив, разговорчив, на здоровье не жаловался, всем норовил угодить, обрадовать радушием. Зная, какой я заядлый рыбак, посулился свезти нас с сыном на речку Опариху, чтоб отвели мы душу на

хариусах.

Капля

Заманил речкой Опарихой Коля, а сам чего-то тянул с отъездом. «Вот Акимка явится, и двинем», – уверял он, то и дело выскакивая на берег Енисея, к пристани.

Аким – закадычный друг братана – уехал в Енисейск вербоваться в лесопожарники и, как я догадался, решил «разменять» подъемные, потому что не любил таскать за собою какие-либо ценности.

Я коротал время возле поселка, на галечном мысу, названном Карасинкой – хранились здесь цистерны с совхозным горючим, отсюда название, – таскал удочками бойких чебаков и речных окуней, белобрюхих, яркополосых, наглых. Шустрей их были только ерши – они не давали никакой рыбе подходить к корму.

Днем мы купались и загорали под солнцем, набравшим знойную силу, лето в том году было жаркое даже на Севере и вода, конечно, не такая, как на Черном море, но окунуться в нее все-таки возможно.

По причине ли сидячей работы, оттого ли, что курить бросил, тетки уверяют – в прадеда удался, прадед пузат был, – тучен я сделался, стеснялся себя такого и потому уходил купаться подальше от людей. Стоял я в плавках на мысу Карасинке, не отрывая взора от удочек, и услышал:

– Ё-ка-лэ-мэ-нэ! Это скоко продуктов ты, пана, изводис?! Вот дак пузо! Тихий узас!

По Енисею на лодке сплывал паренек в светленьких и жидких волосенках, с приплюснутыми глазами и совершенно простодушной на тонкокожем, изветренном лице улыбкой.

По слову «пана», что значит парень, и по выговору, характерному для уроженцев Нижнего Енисея, я догадался, кто это.

– А ты, сельдюк узкопятый, жрешь вино и не закусываешь, вот и приросло у тебя брюхо к спине!

Парень подгреб лодку к берегу, подтянул ее, подал мне руку – опять же привычка человека, редко видающегося с людьми, обязательно здороваться за руку, и лодку непременно поддергивать – низовская привычка: при северном подпружном ветре вода в реке прибывает незаметно и лодку может унести.

– Как это ты, пана, знас, што я сельдюк? – Рука сухожильная, жесткая, и весь «пана» сухощав, косолап, но сбит прочно.

– Я все про тебя знаю. Подъемные вот в Енисейске пропил!

Аким удивленно заморгал узенькими глазками, вздохнул покаянно:

– Пропил, пана. И аванец. И рузье…

– Ружье?! За пропитое ружье раньше охотников пороли. Крестьянина – за лошадь, охотника – за ружье.

– Кто теперь пороть будет? Переворот был, свобода! – хохотнул Аким и бодро скомандовал: – Сматывай удочки!..

И вот мы катим по Енисею к незнакомой речке Опарихе. Мотор у братана древний, стационарный, бренчит громко, коптит вонько, мчится «семь верст в неделю, и только кустики мелькают». Опять же, нет худа без добра и добра без худа – насмотришься на реку, братца с приятелем наслушаешься. Зовут они себя хануриками, и слово это звуком ли, боком ли каким подходило к ним, укладывалось, будто кирпич в печной кладке.

Аким сидел за рулем – в болотных сапогах, в телогрейке нараспашку, кепчонку на нос насунул, мокрую сигаретку сосал. Коля тоже в сапогах, в телогрейке и все в той же вечной своей кепчонке-восьмиклинке, которая от пота, дыма и дождей, ее мочивших, сделалась земляного цвета. Под телогрейкой у Коли пиджачишко, бязевая рубаха – привычка охотников и рыбаков: на реке, в тайге, в лодке быть «собранным» – плотно одетым в любое время года.

Брат узенько лепился на беседке посреди длинной лодки, мы с сыном против него, на другой. Громким голосом, рвущимся из-за шума ли мотора, из-за перебоев ли в дыхании, Коля повествует об охотах, рыбалках и приключениях, изведанных ими. Знакомы они с Акимом еще с Игарки. Дружок и в Чуш притащился следом, живет в доме Коли, и хотя Коля и одногодок «пане», однако хозяин, женатик и потому журит Акима, и тот «слусается товарисса», если трезвый.

Слушая Колю, сын мой уже не раз падал со скамейки. Аким у руля одобрительно улыбался, понимая, что речь идет о них.

… За Опарихой, непроходимой для лодки, есть речка Сурниха, по которой осенью, когда вздует речку, можно где волоком, где шестом подняться километров на двадцать, а там рыбалка-а-а! Забрались парни в глубь тайги, на Сурниху. Устали до того, что ноги подламываются. Но Аким все равно не удержался, перебрел на порожек, лег на камень, долго глядел в воду, потом удочку забросил. Только забросил, тут же хариуса поднял, темного, яркоперого. «Пор-р-рядок!» – заорал. Ну а друг разве утерпит! И давай они шуровать, не поевши, не поспавши. Забросят и подымут, забросят и подымут то хариуса, то ленка. В азарт вошли, про все забыли, а ведь опытные таежники – знают: сперва отаборись, разбей стан, устройся, и тогда уж за дело.

Чего на скорую руку тяп-ляп сделаешь, тяп-ляп и получится. Когда «попробовать» решили, вынули туесок с червями, взяли с собой только по щепотке, что она, щепотка-то, при таком клеве – была и нету!

– Колька! – крикнул Акимка с порога, рыбачивший пониже его, в кружливом пенистом омутке. – Черви кончились. Во берет! Сходи, позалуста!

Оставив удочку с жилкой ноль шесть и двумя пробками, чтоб было видно, когда заклюет, братан подался к брошенным под кусты манаткам. Цап-царап – в

туеске ни одного червяка! В тайге их не найти – мох, сырь, местами мерзлота, какой тут червяк выживет? Значит, накрылась рыбалка! Накрылись труд и старания. Валидол сосал, глаза на лоб лезли, когда тащил лодку по речке, и вот крах жизни.

– Акимка, падла! Кто-то всех червей спер!..

– Сто ты, сто ты, пана! – взревел Акимка и запрыгал по камням к берегу, поскользнулся, упал в речку, начерпал в сапоги. Туесок он тряс, щупал, лицо в него засунул – нету червей. У Коли от потрясения губы почернели.

– Сто же это! Сто же это! – чуть не плача, повторял Акимка. – Озевали нас! Кержаки озевали! Дружишь с имя, привечаешь… – И вдруг Акимка смолк, увидев на пеньке черного дятла – желну. Сидит клюв чистит. Дальше еще один – клиноголовики, муж с женой, видать. Такие оба довольные. Почистились, дремать пробуют после обеда. Еще с речки слышал Акимка, как они перекликались тут, квякали озабоченно, потом на весь лес стоном стонали – песня у них такая – напировались, весело им. «А-а, живоглоты! Поруху сделали! Теперь тувалет!» Аким сгреб ружье и картечью в дятла. Близко стрелял, отшибло бедной птахе голову. Вторая желна застонала, запричитала на весь лес, черно умахивая в глубь тайги. Акимке мало, что расшиб из ружья птаху, он еще схватил дятла за крыло и шмякнул его в воду, как тряпку. Коля замахал руками, замычал, валидолину выплюнул и бултых в речку следом за дятлом. «Все! – ужаснулся Аким. – Спятил кореш!» Хотел бросаться спасать его, но Коля где плавом, где бродом догнал дятла, выловил и на берег, повторяя:

– Вот оне! Вот оне!..

Акимка глянул: черви, будто из копилки, вылезают из дятла и разбежаться метят. Другую желну Аким долго караулил, выставил туес на пенек. Явился разбойник, не запылился. Аким прибил дятла аккуратно, да в брюхе прожоры от червей мало чего осталось. Попробовали рыбачить на птичьи потроха. Хариус, особо ленок брал безотказно, и наловили друзья два бочонка отборной рыбы. На всю зиму обеспечились, однако с тех пор рот в лесу не открывали и червей берегли пуще хлеба.

… Долго ли, коротко ли мы плыли, и привез нас моторишко к речке Опарихе, отстучал, отбренчал, успокоился, пар от него, перекаленного, горячий валит,

водой брызнули с весла – зашипело.

Аким в который раз предлагает уйти на Сурниху. Но мне чем-то с устья приглянулась Опариха, главный заман в том, что людей на ней не бывает – труднопроходимая речка.

– Смотри, пана, не покайся, – предупредил Аким, и мы пошли сначала бойко, но как залезли в переплетенные, лежащие на земле тальники, то и понял я сразу, отчего опытные таежники долго обходили эту речку стороной – здесь самые что ни на есть джунгли, только сибирские, и называются они точно и метко – шарагой, вертепником и просто дурниной.

Версты две продирались где ползком, где на карачках, где топором прорубаясь, где по кромке осыпного яра. И вот уж дух из нас вон! Гнуса в зарастельнике тучи, пот течет по лицам и шее, съедает солью противокомариную мазь.

Наконец-то шиверок! И сразу крутой поворот, ниже которого речка подмыла берег, навалила кустов смородины, шипицы, всякого гибника, две старые осины и большую ель. Место – лучше не придумать! Коля зашел на камни шиверка и через голову пульнул под кусты, на глубину толстую леску с пробками от шампанского. Я подумал, что после такого всплеска и при такой жилке ему не только хариус, но и крокодил, обживись он в этих студеных водах, едва ли клюнул бы, но не успел завершить свою мысль, как услышал:

– Е-э-э-эсь! – Жидкое, только что срубленное братом удилище изгибалось былкой под тяжестью крупного хариуса.

Все мы заторопились разматывать удочки, наживлять червей, и через минуту я услышал бульканье, шлепоток и увидел, как от упавшей с берега осинки сын поднимает ярко взблескивающего на свету хариуса. Все во мне обмерло: берег крутой, опутанный кустами, сын никогда еще не ловил такого крупного хариуса, хотя спец он по ним и немалый. Он поднял рыбину над водой, но, привыкший рыбачить на стойкую бамбуковую удочку, позабыл, что в руках у него сырой черемуховый покон – рыбина разгулялась на леске, ударилась о куст и оборвалась в воду. Очумело выкинувшись наверх, хариус хлопнул сиреневым хвостом по воде и был таков!

Потоки ругательств, среди которых «растяпа» было едва ли не самое нежное, обрушил папа на голову родного дитяти.

Аким, стоявший по другую сторону речки, не выдержал, заступился за парнишку:

– Что ты пушишь парня? Было бы из-за чего! Науди-им иссе! – и выдернул на берег серебрящегося хариуса. – Во, видал!

А я-то думал, что на его удочку и вовсе уж никто не попадется – удилище с оглоблю, жилка – толще не продают, поплавок из пенопласта, с огурец величиной, крючок в самый раз для широкой налимьей пасти. Я перестал ругаться, пошел искать «хорошее» место, не найдя какового, на уральских речках, к примеру, хариуса не поймаешь. Загнали его там, беднягу, в угол, и таких он страхов натерпелся, что сделался недоверчивым, нервным и, прежде чем клюнуть, наденет очки, обнюхается, осмотрится, да и шасть под корягу, как распоследний бросовый усач или пищуженец.

С берега упал кедр, уронил собою несколько рябинок и вербу. Палые деревья образовали что-то вроде отбойной запруды, и там, где трепало их вершины, кружил, хлопался водоворот – непременно должна здесь стоять рыба, потому что ловко можно было выскакивать из ухоронки за кормом, но самая хитрая, самая прожорливая рыба, по моему разумению, должна стоять у комля, точнее, под комлем кедра, в тени меж обломанными сучками и вилкой корня. Темнел там вымытый омуток, в нем неторопливо кружило мусор, значит, и всякий корм. Требуется уменье попасть удочкой меж бережком и ветками кедра и не зацепиться, но все на тех же захламленных речках Урала, где хариус и поплавка боится, навострился наш брат видеть поклевки вовсе без каких-либо поплавков – впритирку ко дну, в хламе и шиверах проводит крючок без зацепов, добывая иногда на ушицу рыбы, каждая из коих плавает с порванными губами иль кончила противокрючковые курсы.

Севши под кустик шиповника, я тихо пустил у ног в струйку крючок со свежим червяком, дробинкой-грузильцем и чутким осокоревым поплавком уральской конструкции – стоит даже уклейке понюхать наживку, поплавок нырь – и будьте здоровы! Поплыл мой поплавок. Я начал удобней устраиваться за кустом, глянул – нет поплавка. «Раззява! – обругал я себя. – Первый заброс – и крючок на ветках!» Потянул легонько, в удилище ударило, мгновенье – и у ног моих, на камнях забился темный хариус, весь в сиреневых лепестках, будто весенний

цветок прострел.

Я полюбовался рыбиной, положил ее в старый портфель, который дал мне Коля вместо сумки, уверенный, что ничего я не поймаю, сделал еще заброс – поплавок не успел дойти до ствола кедра, его качнуло и стремительно, без рывков повело вбок и вглубь – так уверенно берет только крупная рыба. Я подсек, рыба уперлась в быстрину, потащила леску в стрежень, но я стронул ее и с ходу выволок на камни. Ярко, огненно сверкнуло на камешнике, изогнулось дугой, покатилось, и я, считающий себя опытным и вроде бы солидным рыбаком, ахнув, упал на рыбину, ловил ее под собою, пытался удержать в руках и не мог удержать. Наконец мне удалось ее отбросить от воды, прижать, трепещущую, буйную, к земле. «Ленок!» – возликовал я, много лет уже не видавший этой редчайшей по красоте рыбы – она обитает в холодных и чистейших водах Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока, где ленка называют гольцом. На Урале ленка нет.

Вам доводилось когда-нибудь видеть вынутую из кузнечного горна полосу железа? Еще не совсем остывшую, на концах и по краям еще красную, а с боков уже сиренево и сине отливающую? Сверх того, окраплена рыба пятнами, точками, скобками, которые гаснут на глазах. Ко всему этому еще гибкое, упругое тело – вот он каков, ленок! Как и всякое чудо природы, прекрасный ее каприз сохраняется только у «себя дома». На моих глазах такой боевой, ладный ленок тускнеет, вянет и успокаивается не только сила его, но и окраска. В портфель я кладу уже вялую, почти отцветшую рыбину, на которой остался лишь отблеск красоты, тень заката.

Но человек есть человек, и страсти его необоримы. Лишь слабенькое дуновение грусти коснулось моей души, и тут же все пропало, улетучилось под напором азарта и душевного ликования. Я вытянул из-под комля еще пару ленков и стал осваивать стрежину за вершиной кедра, где хариусы стояли отдельно от стремительных, прожорливых ленков, надежд на совместный прокорм почти не оставляющих, и поднял несколько рыбин. Я был так возбужден и захвачен рыбалкой, что забыл про комаров, про братана, про родное дитя.

– Папа! – послышался голос сына. – Я какого-то странного хариуса поймал! Очень красивого! – Я объяснил сыну, что это за рыба, и узнал – кроме ленка, сын добыл еще четырех хариусов, да каких! Парень он уравновешенный, немного замкнутый, а тут, чую, голосишко дрожит, возбудился, поговорить охота. – У тебя как?

Я показал ему большой палец и скоро услышал:

– Я снова ленка поймал!

– Молодец!

Надо мной зашуршало, покатилась земля, и я увидел на яру Акима.

– Ты сё здесь делашь? Ково ты здесь добудешь? – Я поднес к носу сельдюка портфель, и Аким схватился за щеку: – Ё-ка-лэ-мэ-нэ-э! Это сё тако, пана?! – жаловался он подошедшему Коле. – Оне таскают и таскают!..

– Пушшай таскают! Пушшай душу порадуют! Натешатся!..

– Ты бы, – сказал я Акиму, – канат вместо жилки привязал да поплавок из полена сделал и лупцевал по воде…

Тут я выхватил еще одного хариуса из такого места, где, по мнению Акима, ни один нормальный рыбак не подумал бы рыбачить, а нормальная рыба – стоять. Сельдюк махнул рукой: «Чего-то нечисто тут!» – и пошлепал дальше, уверяя, что все равно всех обловит. За поворотом он запел во всю головушку: «Не тюрьма меня погубит, а сырая мать-земля…» Коля хохотал, перебредая по перекату через речку, говорил, что сельдюк узкопятый в самом деле всех обловит, убежит вперед, исхлещет речку, разгонит все, что есть в ней живое, и если не встретится дурная рыба, обломает вершинку удилища, смотает на нее леску, натянет на ухо полу телогрейки и завалится спать. Его и комар не берет, за своего принимает.

Следом за Акимом подался дураковатый и прожорливый кобель Тарзан. Кукла, хитренькая такая сучка, верная и золотая в пушном промысле, не отходила от Коли, сидя чуть в отдалении, утиралась лапкой, смахивала с носа комаров. Почему Тарзан привязался к Акиму – загадка природы. Чего только не вытворял над Тарзаном сельдюк! И ругал его, и гонял его, если давал мелконькую рыбку слопать, непременно с фокусом – зашвырнет ее в гущу листьев копытника и понукает:

– Усь! Усь, собачка! Лови рыбу! Хватай!

Тарзан козлом прыгал в зарослях, брызгал водой, преследуя рыбешку, часто отпускал добычу и, облизнувшись, ждал подачку – рыбу он любил пуще сахара.

Я уж устал хохотать, а сын мой – хлебом не корми, дай посмеяться – вместе с Тарзаном таскался за Акимом, любовно смотрел ему в рот.

– Акимка! – строжась, кричал Коля. – Скоро уху варить, а у нас че?

Аким не отзывался, исчез, подавшись вверх по речке.

И мы углубились по Опарихе. Тайга темнела, кедрач подступил вплотную, местами почти смыкаясь над речкой. Вода делалась шумной, по обмыскам и от весны оставшимся проточинам росла непролазная смородина, зеленый дедюльник, пучки-борщевники с комом багрово-синей килы на вершине вот-вот собирались раскрыться светлыми зонтами. Возле притемненного зарослями ключа, в тени и холодке цвели последним накалом жарки, везде уже осыпавшиеся, зато марьины коренья были в самой поре, кукушкины слезки, венерины башмачки, грушанка – сердечная травка – цвели повсюду, и по логам, где долго лежал снег, приморились ветренницы, хохлатки. На смену им шла живучая трава криводенка, вострился сгармошенными листьями кукольник. Населяя зеленью приречные низины, лога, обмыски, проникая в тень хвойников, под которыми доцветала брусника, седьминчик, заячья капуста и вонючий болотный болиголов, всегда припаздывающее здесь лето трудно пробиралось по Опарихе в гущу лесов, оглушенных зимними морозами и снегом.

Идти сделалось легче. Чернолесье, тальники, шипица, боярышник, таволожник и всякая шарага оробели, остановились перед плотной стеной тайги и лишь буераками, пустошами, оставшимися от пожарищ, звериными набродами, крадучись пробирались в тихую прель дремучих лесов.

Опариха все чаще и круче загибалась в короткие, но бойкие излучины, за каждой из которых перекат, за перекатом – плесо или омуток.

Мы перебредали с мыса на мыс, и кто был в коротких сапогах, черпанул уже дух захватывающей, знойно-студеной воды, до того прозрачной, что местами казалось по щиколотку, но можно ухнуть до пояса. Коля предлагал остановиться, сварить уху, потому что солнце поднялось высоко, было парко,

совсем изморно сделалось дышать в глухой одежке – защите от комаров. Они так покормились под шумок, что все лицо у меня горело, за ушами вспухло, болела шея, руки от запястий до пальцев в крови.

Уперлись в завал.

– Дальше, – сказал Коля, – ни один местный ханыга летом не забирался, – и покричал Акима.

Отклика не последовало.

– Вот марал! Вот бродяга! Парня замучает, Тарзана ухайдакает.

В могучем завале, таком старом, вздыбленном, слоеном, что местами взошел на нем многородный ольховник, гнулся черемушник, клешнясто хватался за бревна, по-рачьи карабкался вверх узколистый краснотал и ник к воде смородинник. Речку испластало в клочья, из-под завала там и сям вылетали взъерошенные, скомканные потоки и поскорее сбегались вместе. Такие места, хотя по ним и опасно лазить – деревья и выворотни сопрели, можно обвалиться, изувечиться, – никакой «цивилизованный» рыбак не обойдет.

Я забрался в жуткие дебри завала, сказав ребятам, чтоб они стороной обходили это гиблое место, где воду слышно, да не видно и все скоргочет под ногами от короедов, жуков и тли.

Меж выворотней, корневищ, хлама, сучкастых стволов дерев, олизанных водою бревен, нагромождения камней, гальки, плитняка темнели вымоины. Вижу в одной из них стайку мелочи. Хариус выпрыгивает белым рыльцем вверх, прощупывает мусор и короедами точенную древесную труху. Иной рыбехе удается поддеть губой личинку короеда либо комара, и она задает стрекача под бревна, вся стайка следом. Один рукав круто скатывается под бревно, исчезает в руинах завала, и не скоро он, очумелый от темноты и тесноты, выпутается из лесного месива. Осторожно спускаю леску с руки, и, едва червяк коснулся воды, из-под бревна метнулась тень, по руке ударило, я осторожно начал поднимать пружинисто бьющуюся на крючке рыбину.

Пока вернулся Аким с компанией, едва волочившей ноги, так он ушомкал ее, бегая по Опарихе, я вытащил из завала несколько хариусов, собрался

похвастаться ими, но пана открыл свою сумку, и я увидел там таких красавцев ленков, что померкли мои успехи, однако по количеству голов сын обловил Акима, и он великодушно хвалил нас:

– Ё-ка-лэ-мэ-нэ! Пана, се за рыбаки понаехали! Сзади, понимас, идут, и понужают, и понужают! Тихий узас!

Я заверил друзей-ханурикoв, что со своей нахальной снастью они ничего, кроме коряжины иль старого сапога, в местах обетованных не выудят.

– А мы туды и не поедем, раз такое дело! – в голос заявили сельдюки.

Колю я тоже звал сельдюком, потому как вся сознательная жизнь его прошла на Севере и рыбы, в том числе и туруханской селедки, переловил он уйму, а тому, сколько могут съесть рыбы эти мужички-сельдючки величиной с подростков, вскоре стали мы очевидцами.

Аким умело, быстро очистил пойманную рыбу. Я подумал, подсолить хочет, чтобы не испортилась. Но, прокипятив воду с картошкой, пана всю добычу завалил в ведро, палкой рыбу поприжал, чтоб не обгорели хвосты.

– Куда же столько?

– Нисе, съедим! Проходилися, проголодалися.

Это была уха! Ухи, по правде сказать, в ведре почти не оказалось, был навар, и какой! Сын у меня мастак ловить рыбу, но ест неохотно. А я уж отвык от рыбного изобилия, управил с пяток некрупных, нежных хариусов и отвалился от ведра.

– Хэ! Едок! – фыркнул Аким. – Ты на сем тако брюхо держишь?

Вывалив рыбу на плащ, круто посолив ее, сельдюки вприкуску с береговым луком неторопливо подчистили весь улов до косточки, даже головы рыбьи высосали. Я осмотрел их с недоверием наново: куда же они рыбу-то поместили?! Жахнув по пятку кружек чаю и подморгнув друг дружке, сельдюки подвели итог:

– Ну, слава Богу, маленько закусили. Бог напитал, никто не видал.

– Вот это вы дали!

– На рыбе выросли, – сказал Коля, собирая ложки, – до того папа доводил, что, веришь – нет, жевали рыбу без хлеба, без соли, как траву…

– Как не поверить! Я ведь нашему папе сродни…

Аким, почуяв, что нас начинают охватывать невеселые воспоминания, поднял себя с земли, зевнул широко, обломал конец удилища, смотал на него леску, взял вещмешок, сбросал в него лишний багаж и, заявив, что такую рыбалку он в гробу видел и что лодку без присмотра на ночь нельзя оставлять, подался вниз по речке, к Енисею.

Мы еще поговорили у затухающего костерика и уже неторопливо побрели вверх по Опарихе. Чем дальше мы шли, тем сильнее клевала рыба. Запал и горячка кончились. Коля взял у меня портфель, отдал рюкзак, куда я поставил ведро, чтоб хариусы и ленки не мялись. У рыбы, обитающей в неге холодной чистой воды, через час-другой «вылезало» брюхо. Тарзан до того наелся рыбой и так подбил мокрые лапы на камешнике, что шел, пьяно шатаясь, и время от времени пьяно же завывал на весь лес: зачем, дескать, я с вами связался? Зачем не остался лодку сторожить? Был бы сейчас с Акимкой у стана, он бы со мной баловался, и никуда не надо топать. Кукла-работница лапок не намочила, шла верхом, мощным лесом и только хвостом повиливала, явившись кому-нибудь из нас. Где-то кого-то она раскапывала, нос у нее был в земле и сукровице, глаза сыто затуманились.

Когда-то здесь, на Опарихе, Коля стрелял глухарину, и молодая, только что начинавшая охотничать собака дуром кинулась на глухаря. Тот грозно растопорщился, зашипел и так долбанул клювом в лоб молодую сучонку, что она опешила и шасть хозяину меж ног. Глухарь же до того разъярился, до того ослеп от гневной силы, что пошел боем дальше, распустив хвост и крылья.

«Кукла! Да он же сожрет нас! – закричал Коля. – Асю его!» Кукла хоть и боялась глухаря, хозяина ослушаться не посмела, обошла птицу с тыла, теребнула за хвост. С тех пор идет собачонка на любого зверя, медведь ей не страшен, но вот глухаря побаивается, не облаивает, если возможно, минует его стороной.

Опариха становилась все быстрей и сумрачней. Реденько выступал мысок со взбитым зеленым чубом листвы или в зарослях осоки. Кедры, сосняки, ельники, пихтовники вплотную подступали к речке. Космы ягелей и вымытых кореньев свисали с подмытых яров, лесная прель кружилась над речкой, в носу холодило полого плывущим духом зацветающих мхов, в горле горчило от молодых, но уже пыльно сорящих папоротников, реденькие лесные цветы набухали там и сям шишечками, дудочник шел в трубку. В иное лето цветы и дудки здесь так и засыхают не расцветя.

Отошли семь-восемь километров от Енисея, и нет уже человеческого следка, кострища, порубок, пеньков – никакой пакости. Чаще завалы поперек речки, чаще следы маралов и сохатых на перетертом водою песке. Солнце катилось куда-то в еще более густую темь лесов. Перед закатом освирепел гнус, стало душнее, тише и дремучей. Над нами просвистели крохали, упали в речку, черкнув по ней отвислыми задами и яркими лапами. Утки огляделись, открякались и стали выедать мелкого хариуса, загоняя его на мелководье.

Я взглянул на часы, было семь минут двенадцатого, и улыбнулся про себя – мы отстояли четырнадцатичасовую вахту, и не просто отстояли, продирались в дебри где грудью, где ползком, где вброд; если бы кого из нас заставили проделать такую же работу на производстве, мы написали бы жалобу в профсоюз.

Коля выбрал песчаный опечек и пластом упал на него. Хотя обдувья не было – так загустела тайга вокруг, по распадку угорело виляющей речки все же тянуло холодком, лица касалось едва ощутимое движение воздуха, скорее дыхание тайги, одурманенное доцветающей невдалеке черемухой, дудками дедюльников, марьиного корня и папоротников.

Пониже мыска, у подмытого кедра, динозавром стоявшего на лапах в воде, полосами кружилось уловце, маячила над ним тонкая фигура сынишки – там уже три раза брал и сходил «здоровенный харюзина»!

Я крикнул сына, и он с сожалением оставил недобытого хариуса. Мы свалили кедровую сухарину, раскряжевали ее топором. И вот уж кипяток, запаренный смородинником и для крепости приправленный фабричным чаем, напрел, запах. Брат лежал на опечке вниз лицом, не шевелясь. Я налил в кружку чаю, потрогал брата за плечо.

– Сейчас, – не поднимая головы, отозвался он и сколько-то времени еще полежал, вслушиваясь в себя. С трудом приподнялся, сел, потирая ладонью левую половину груди. – Тайга-мама заманила, титьку дала – малец и дорвался, сам себе язык откусил…

Чай подживил Колю. Он прилег на бок, уперся щекой в ладонь, слушал тайгу-маму – она отодвинулась от всех шумов, шорохов, отстранилась от всякого движения и отчужденно погружалась в самое себя, в хвою, в листья, в мох, в хлябистые болота. Было слышно птицу, где-то за версту неловко и грузно садившуюся в дерево; жуков, орехово щелкающихся о стволы, крохалей, озадаченных костром, ярче и ярче в сумерках светящем, и коротко по этому поводу переговаривающихся; падение прошлогодней шишки, сухо цепляющейся за сучки; короткий свист бурундука и чем-то потревоженную желну, заскулившую на весь лес, при крике которой сморщило губы брата улыбкой, и мы с сыном тоже заулыбались, вспомнив о приключении ханурикoв-друзей на Сурнихе. Но все вокруг уняло журчанием берестяного пастушьего рожка, почти сливающегося с чурлюканьем речки в перекате и все же отдельным от него, нежным, страстным, зовущим.

– Ты чего? – повернулся ко мне братан. – Какие тебе тут пастухи? Здесь скот – маралы, олени да сохатые… – Говорил он резко, почти сердито – нездоровилось ему. Но, перехватив мой взгляд, без необходимости поправил огонь, мягче пояснил: – Маралуха с теленком пасется…

Собаки одыбались, навострили уши. Я перестал рубить лапник для подстилки. Но скоро собаки успокоились, прикрылись хвостами. Хитрая и умная Кукла легла под тягу дыма, и от нее отжимало комара. Тарзан почти залез в огонь, и все равно гнус загрызал его. Он время от времени лапами стряхивал комаров с морды, упречно глядел на нас – что же это, дескать, такое? Куда вы меня завели и чего вам дома не сидится! Коля бросил на лапник телогрейку, натянул на ухо воротник старого пиджака, осадил ниже кепчонку и лег по одну сторону костра; сын, обмотавшись брезентовыми штанами, устроился по другую.

Я спать не хотел. Не мог. Напился крепкого чая, за братана переживал и, кроме того, столько лет мечтал посидеть у костра в тайге, еще не тронутой, точнее сказать, не поувеченной человеком, так неужели этот редкий уже праздник продрыхать?!

Что испытывал я тогда на Опарихе, у одинокого костра, хвостатой кометой мечущегося в темени лесов, возле дикошарой днем, а ночью по-женски присмирелой, притаенно говорливой речки?

Все. И ничего.

Дома, в городской квартире, закиснув у батареи парового отопления, мечтаешь: будет весна, лето, я убреду в лес и там увижу такое, переживу разэтакое… Все мы, русские люди, до старости остаемся в чем-то ребятишками, вечно ждем подарков, сказочек, чего-то необыкновенного, согревающего, даже прожигающего душу, покрытую окалиной грубости, но в середке незащищенную, которая и в изношенном, истерзанном, старом теле часто ухитряется сохраняться в птенцовом пухе.

И не ожидание ли необычного, этой вечной сказочки, не жажда ли чуда толкнули однажды моего брата в таймырскую тундру, на речку Дудыпту, где совсем не сказочной болезнью и тоской наделила его шаманка? И что привело нас сюда, на Опариху? Не желание же кормить комаров, коих чем глуше ночь, тем гуще клубится и ноет возле нас. В отсвете костра, падающего на воду, видно не просто облако гнуса, а на замазку похожее тесто. Без мутовки, само собою сбивается оно над огнем, набухает, словно на опаре, осыпая в огонь желтые отруби.

Коля и сын спрятали руки под себя, дрыгаются, бьются во сне. Собаки пододвинулись вплотную к огню. Я же, хорошо умывшись в речке, сбив с лица пот, густо намазался репудином (если бы существовал рай, я бы заранее подал туда заявление с просьбой забронировать там лучшее место для того, кто придумал мазь от гнуса). Иной ловкач комар все же находил место, где насосаться крови, то и дело слышится: «шпы-ы-ынь…» – это тяжело отделяется от меня опившийся долгоносый зверь. Но дышать-то, жить, смотреть, слушать можно, и что она, эта боль от укусов, в сравнении с тем покоем и утешением сердца, которое старомодно именуется блаженством.

На речке появился туман. Его подхватывало токами воздуха, тащило над водой, рвало о подмытые дерева, свертывало в валки, катило над короткими плесами, опятнанными кругляшками пены. Нет, нельзя, пожалуй, назвать туманами легкие, кисеей колышущиеся полосы. Это облегченное дыхание земли после парного дня, освобождение от давящей духоты, успокоение прохладой всего живого. Даже мулявки в речке перестали плавиться и плескаться. Речка текла,

ровно бы мохом укрытая, мокро всюду сделалось, заблестели листья, хвоя, комки цветов, гибкие тальники сдавило сыростью, черемуха на том берегу перестала сорить в воду белым, поределые, растрепанные кисти полоскало потоком, и что-то было в этой поздно, тощо и бедно цветущей черемушке от современной женщины, от ее потуг хоть и в возрасте, хоть с летами нарядиться, отлюбить, отпраздновать дарованную природой весну.

За кедром, динозавром маячившим в воде, в ночи сделавшимся еще более похожим на допотопного зверя, где стоял «харюзина», не изловленный сыном, блеснуло раз-другой, разрезало острием серпика речку от берега до берега, точно лист цинкового железа, и туманы, расстриженные надвое, тоже разделились – одна полоса, подхваченная речкой, потекла вниз, другая сбилась в облачко, которое притулилось к берегу, осело на кусты подле нашего костра.

Блеклым светом наполнилось пространство, раздвинулась глубь тайги, дохнуло оттуда чистым холодом, на глазах начал распадаться ком гнуса, исчезать куда-то, реденько кружило дымом уже вялых, молчаливых мокрецов. Ребята у костра внятно вздохнули, напряженные тела их распустились – уснули глубоко, все в них отдыхало – слух, нюх, перетруженные руки и ноги. Который-то из парней даже всхрапнул коротко, выразительно, но тут же подавил в себе храп, чуя подсознанием, что спит он не дома, не под крышей, не за запорами, какая-то часть его мозга бдила, была настороже.

Я подладил костер. Он вспыхнул на минуту и тут же унялся. Дым откачнуло к воде, туда же загнуло яркий гребень огонька. Придвинувшись к костру, я вытянул руки, сжимал и разжимал пальцы, будто срывал лепестки с громадного сибирского жарка. Руки, особенно левая, занемели, по плечу и ниже его холодным пластом лежала вкрадчивая боль – сказывалось долгое городское сидение – и такая сразу нагрузка да вчерашняя духотища.

Серебристым харюзком мелькнул в вершинах леса месяц, задел за острие высокой ели и без всплеска сорвался в уремную гущу. Сеево звезд на небе сгустилось, потемнела речка, и тени дерев, объявившиеся было при месяце, опять исчезли. Лишь отблескивала в перекатах Опариха, катясь по пропаханной, вилючей бороздке к Енисею. Там она распластается по пологому берегу на рукава, проточины и обтрепанной метелкой станет почесывать бок грузного, силой налитого Енисея, несмело с ним заигрывая. Чуть приостановив себя на выдавшейся далеко белокаменной косе, взбурлив тяжелую воду, батюшко Енисей принимал в себя еще одну речушку, сплетал ее в клубок с другими

светлыми речками, речушками, которые сотни и тысячи верст бегут к нему, встревоженные непокоем, чтобы капля по капле наполнять молодой силой вечное движение.

Казалось, тише, чем было, и быть уже не могло, но не слухом, не телом, а душою природы, присутствующей и во мне, я почувствовал вершину тишины, младенчески пульсирующее темечко нарождающегося дня – настал тот краткий миг, когда над миром парил лишь Божий дух един, как рекли в старину.

На заостренном конце продолговатого ивового листа набухла, созрела продолговатая капля и, тяжелой силой налитая, замерла, боясь обрушить мир своим падением.

И я замер.

Так на фронте цепенел возле орудия боец с натянутым ремнем, ожидая голос команды, который сам по себе был только слабым человечьим голосом, но он повелевал страшной силой – огнем, в древности им обожествленным, затем обращенным в погибельный смерч. Когда-то с четверенек взнявшее человека до самого разумного из разумных существ, слово это сделалось его карающей десницей. «Огонь!» – не было и нет для меня среди известных мне слов слова ужасней и притягательней!

Капля висела над моим лицом, прозрачная и грузная. Таловый листок держал ее в стоке желобка, не одолела, не могла пока одолеть тяжесть капли упругую стойкость листка. «Не падай! Не падай!» – заклинал я, просил, молил, кожей и сердцем внимая покою, скрытому в себе и в мире.

В глуби лесов угадывалось чье-то тайное дыхание, мягкие шаги. И в небе чудилось осмысленное, но тоже тайное движение облаков, а может быть, иных миров иль «ангелов крыла»?! В такой райской тишине и в ангелов поверишь, и в вечное блаженство, и в истлевание зла, и в воскресение вечной доброты. Собаки тревожились, вскидывали головы. Тарзан зарычал приглушенно и какое-то время катал камешки в горле, но, снова задремывая, невнятно тявкнул, хлюпнул ртом, заглотив рык вместе с комарами.

Ребята крепко спали.

Я налил себе чаю, засоренного хлопьями отгара и комаров, глядел на огонь, думал о больном брате, о подростке сыне. Казались они мне малыми, всеми забытыми, спозаброшенными, нуждающимися в моей защите. Сын кончил девятый класс, был весь в костях, лопатки угловато оттопыривали куртку на спине, кожа на запястьях тонко натянута, ноги в коленях корнем – не сложился еще, не окреп, совсем парнишка. Но скоро отрываться и ему от семьи, уходить в ученье, в армию, к чужим людям, на чужой догляд. Брат, хотя годами и мужик, двоих ребятишек нажил, всю тайгу и Енисей обшастал, Таймыра хватил, корпусом меньше моего сына-подростка. На шее позвонки орешками высыпали, руки в кистях тонкие, жидкие, спина осажена надсадой к крестцу, брюхо серпом, в крыльцах сутул, узок, но жилист, подсадист, под заморышной, невидной статью прячется мужицкая хватка и крепкая порода, ан жалко отчего-то и сына, и брата, и всех людей на свете. Спят вот доверчиво у таежного костра, средь необъятного, настороженного мира два близких человека, спят, пустив слюнки самого сладкого, наутреннего сна, и сонным разумом сознают, нет, не сознают, а ощущают защиту – рядом кто-то стережет их от опасностей, подживляет костер, греет, думает о них…

Но ведь когда-то они останутся одни, сами с собой и с этим прекраснейшим и грозным миром, и ни я, никто другой не сможет их греть и оберегать!

Как часто мы бросаемся высокими словами, не вдумываясь в них. Вот долдоним: дети – счастье, дети – радость, дети – свет в окошке! Но дети – это еще и мука наша! Вечная наша тревога! Дети – это наш суд на миру, наше зеркало, в котором совесть, ум, честность, опрятность нашу – все наголо видать. Дети могут нами закрыться, мы ими – никогда. И еще: какие бы они ни были, большие, умные, сильные, они всегда нуждаются в нашей защите и помощи. И как подумаешь: вот скоро умирать, а они тут останутся одни, кто их, кроме отца и матери, знает такими, какие они есть? Кто их примет со всеми изъянами? Кто поймет? Простит?

И эта капля!

Что, если она обрушится наземь? Ах, если б возможно было оставить детей со спокойным сердцем, в успокоенном мире!

Но капля, капля!..

Я закинул руки за голову. Высоко-высоко, в сереньком, чуть размытом над далеким Енисеем небе различил две мерцающие звездочки, величиной с семечко таежного цветка майника. Звезды всегда вызывают во мне чувство сосущего, тоскливого успокоения своим лампадным светом, неотгаданностью, недоступностью. Если мне говорят: «тот свет», – я не загробье, не темноту воображаю, а эти вот мелконькие, удаленно помаргивающие звездочки. Странно все-таки, почему именно свет слабых, удаленных звезд наполняет меня печальным успокоением? А что тут, собственно, странного? С возрастом я узнал: радость кратка, преходяща, часто обманчива, печаль вечна, благотворна, неизменна. Радость сверкнет зарницей, нет, молнией скорее и укатится перекатным громыханьем. Печаль светит тихо, как неугаданная звезда, но свет этот не меркнет ни ночью, ни днем, рождает думы о ближних, тоску по любви, мечты о чем-то неведомом, то ли о прошлом, всегда томительно-сладком, то ли о заманчивом и от неясности пугающе-притягательном будущем. Мудра, взросла печаль – ей миллионы лет, радость же всегда в детском возрасте, в детском обличье, ибо всяким сердцем она рождается заново, и чем дальше в жизнь, тем меньше ее, ну вот как цветов – чем гуще тайга, тем они реже.

Но при чем тут небо, звезды, ночь, таежная тьма?

Это она, моя душа, наполнила все вокруг беспокойством, недоверием, ожиданием беды. Тайга на земле и звезды на небе были тысячи лет до нас. Звезды потухали иль разбивались на осколки, взамен их расцветали на небе другие. И деревья в тайге умирали и рождались, одно дерево сжигало молнией, подмывало рекой, другое сорило семена в воду, по ветру, птица отрывала шишку от кедра, клевала орехи и сорила ими в мох. Нам только кажется, что мы преобразовали все, и тайгу тоже. Нет, мы лишь ранили ее, повредили, истоптали, исцарапали, ожгли огнем. Но страху, смятенности своей не смогли ей передать, не привили и враждебности, как ни старались. Тайга все так же величественна, торжественна, невозмутима. Мы внушаем себе, будто управляем природой и что пожелаем, то и сделаем с нею. Но обман этот удается до тех пор, пока не останешься с тайгою с глазу на глаз, пока не побудешь в ней и не поврачуешься ею, тогда только воньмешь ее могуществу, почувствуешь ее космическую пространственность и величие.

С виду же здесь все просто, всякому глазу и уху доступно. Вон соболек мелькнул по вершинам через речку, циркнул от испугу и любопытства, заметив наш костер. Выслеживает соболек белку, чтобы унести своим соболятам на корм. Птица, грузно садившаяся ночью в дерево, была капалуха, на исходе вечера

слетавшая с гнезда размять крылья. Лапы у нее закостенели под брюхом от сидения и неподвижности, худо цеплялись за ветви, оттого она так долго и громоздилась при посадке. Осмотревшись с высоты, не крадется ль к яйцам, оставленным в гнезде, какой хищник, капалуха тенью скользнула вниз подкормиться прошлогодней брусникой, семечками и, покружив возле дерев, снова вернулась к пестрому выворотню, под которым у нее лежало в круглом гнезде пяток тоже пестрых, не всякому глазу заметных яиц. Горячим телом, выщипанным до наготы, она накрыла яйца, глаза ее истомно смежились – птица выпаривала цыпушек – глухарят.

Близко от валежины прошла маралуха с теленком. Пошевеливая ушами из стороны в сторону, мать тыкала в землю носом, срывая листок-другой – не столько уж покормиться самой, сколько показать дитю, как это делается. Забрел в Опариху выше нашего стана сохатый, жует листья, водяную траву, объедь несет по речке. Сиреневые игрушечные пупыри набухли в лапах кедрачей, через месяц-два эти пупырышки превратятся в крупные шишки, нальется в них лаково-желтый орех. Прилетела жарового цвета птица ронжа, зачем-то отвинтила, оторвала лапами сиреневую шишечку с кедра и умахала в кусты, забазарив там противным голосом, не схожим с ее заморской, попугайной красотой. От крика иль тени разбойницы ронжи, способной склевать и яички, и птенцов, и саму наседку, встрепенулся в камешках зуек, подбежал к речке и не то попил, не то на себя погляделся в воду, тут же цвиркнула, взнялась из засидки серенькая трясогузка, с ходу сцапала комара иль поденка и усмыгнула в долготелые цветочки с багровым стеблем. Цветочки на долгой ножке, листом, цветом и всем обличьем похожие на ландыши. Но какие же тут ландыши? Это ж черемша. Везде она захрясла, сделалась жесткой и только здесь, в глуби тайги, под тенистым бережком, наливается соком отдавшей мерзлоты. Вон кристаллики мерзлоты замерцали на вытаине по ту сторону речки, сиреневые пупырки на кедре видно, трясогузка кормится, куличок охорашивается, пуночки по дереву белыми пятнышками замелькали…

Так значит?…

Да утро ж накатило!

Прозевал, не заметил, как оно подкралось. Опал, истаял морок, туманы унесло куда-то, лес обозначился пестрядью стволов. Сова, шнырявшая глухой полночью над речкой и всякий раз, как ее наносило на свет костра, скомканно шарахавшаяся, ткнулась в талину, уставилась на наш табор и, ничего-то не видя,

на глазах оплывала, уменьшалась, прижимая перо ближе к телу. Взбили воду крыльями, снялись с речки крохали, просвистели над нами, согласно повернув головы к костру, чуть взмыли над его вытянутым, вяло колеблющимся дымом.

Все было как надо! И я не хочу, не стану думать о том, что там, за тайгою? Не желаю! И хорошо, что северная летняя ночь коротка, нет в ней могильной тьмы. Будь ночь длинна и темна, и мысли б темные, длинные в башку лезли, и успел бы я воссоединить вместе эту девственную, необъятную тишину и клокочущий где-то мир, самим же человеком придуманный, построенный и зажавший его в городские щели.

Хоть на одну ночь да отделился я от него, и душа моя отошла, отдохнула, обрела уверенность в нескончаемости мироздания и прочности жизни.

Тайга дышала, просыпалась, росла.

А капля?!

Я оглянулся и от серебристого крапа, невдали переходящего в сплошное сияние, зажмурил глаза. Сердце мое трепыхнулось и обмерло от радости: на каждом листке, на каждой хвоинке, травке, в венцах соцветий, на дудках дедюлек, на лапах пихтарников, на необгорелыми концами высунувшихся из костра дровах, на одежде, на сухостоинах и на живых стволах деревьев, даже на сапогах спящих ребят мерцали, светились, играли капли, и каждая роняла крошечную блестку света, но, слившись вместе, эти блестки заливали сиянием торжествующей жизни все вокруг, и вроде бы впервые за четверть века, минувшего с войны, я, не зная, кому в этот миг воздать благодарность, пролепетал, а быть может, подумал: «Как хорошо, что меня не убили на войне и я дожил до этого утра…»

Отволгло все вокруг, наполнилось живительной влагой, уронило листья пером вниз, и потекли, покатились капли с едва слышным шорохом на землю, на песок, на берег Опарихи, на желтое топорище, на серенький рюкзачок, на сухостоину, стоящую в речке. Травы покорно полегли, цветы сникли, хвоя на кедрах очесалась острием долу, черемуховые кисти за речкой сваляло в ватку, ребята съежились возле пригасшего огня, подвели ноги к животам, псы поднялись, начали потягиваться, зевая с провизгом широко распахнутыми, ребристами пастями.

– Эк вас, окаянных! – проворчал я на них незлобиво. – Раздерет!

Кукла шевельнула извинительно хвостом, затворила рот. Тарзан истошно взвизгнул, завершая сладкий зевок, и принялся отряхиваться, соря песком и шерстью. Я отогнал его от костра, разулся, пристроил на колышки отсыревшие в резиновых сапогах портянки и, закатав штаны, побрел через речку. Стиснуло, схватило льдистыми клещами ноги, под грудью заломило, замерло, появилась тошнота. Но я перебрел через речку, напластал беремя черемши, бросил ее у костра, обулся и уловил взглядом – где-то в вершине соседней речки – Сурнихи, за горбом осередыша, за лесами, за подтаежьем обозначило себя солнце. Еще ни единый луч его не прошил острой иглой овчину тайги, но по небу во всю ширь расплылась промоина, и белесая глубь небес все таяла, таяла, обнажая блеклую, прозрачно-льдистую голубизну, в которой все ощутимей глазу или другому, более памятному и восприимчивому зрению, виделась пока несмелая, силы не набравшая теплота.

Живым духом полнилась округа, леса, кусты, травы, листья. Залетали мухи, снова защелкали о стволы дерев и о камни железнолобые жуки и божьи коровки; бурундук умылся лапками на коряжине и беззаботно дерзнул куда-то; закричали всюду кедровки, костер наш, едва верескавший, воспрянул, щелкнул раз-другой, разбрасывая угли, и сам собою занялся огнем. От звука ахнувшего костра совсем близко, за тальником, что-то грузно, с храпом метнулось и загромыхало камнями. Собаки хватили в кусты, сбивая с них мокро, лая вперебой, мокрая и сонная сова зашаталась на талине, запурхалась, но отлететь далеко не смогла, плюхнулась за речкой в мох.

– Сохатый, дубак! – вскинув голову и вытирая припухшие от укусов губы и сонные глаза, сказал Коля и щелкнул по носу моментом вернувшихся из погони мокрых псов: – Ы-ы, падлы! Дрыхаете, а людей чуть не слопали…

Кукла стыдливо отвернулась. Тарзан, предположив, что с ним играют, полез на Колю грязными лапами. Тот его завалил на песок, хлопнул по мокрущей пузе так, что брызги полетели.

Балуется братан – значит, отлегло.

– Хватит дуреть-то! – по праву старшего заворчал я, доставая из рюкзака мыло, и велел ему умыться. Сам же бродом поспешил к кедру, все так же упорно, лбом

встречь течению стоявшему в речке, – «харюзина» тревожил меня, побуждал к действию. Поплавок коснулся воды, выправился, бойким острием пошел вдоль дерева. Меня потянуло на зевоту, и, только рот мой распялило судорогой, поплавок безо всяких толчков и прыжков исчез в отбойной струе; я не успел завершить сладостный зевок – на удочке загуляла сильная рыбина, потянулась под сучковатый кедр, уперлась в нахлестный вал отбоя. Но я не дал уйти хариусу под кедр – там он запутается в сучках, сорвется, быстро повел его и ходом вынес на опечек. Забился, засверкал боец-удалец на короткой леске, сгибая удилище, обручем завертываясь в кольцо – ни одной из речных рыб не извернуться на леске кольцом, только хариус с ленком такие циркачи!

Коля поднял от воды намыленное лицо, заорал сыну:

– Плакал твой харюз!

– Красавец-то какой! – подняв голову и проморгавшись, произнес сын и, начавши обуваться, подморгнул дяде: – Я бы его вытащил, да папа из-за харюза всю ночь не спал – пускай пользуется!..

– Ишь какие весельчаки! Выспались, взбодрились! Вам бы еще сельдюка в придачу!

Но они и без Акима обходились хорошо. Пока пили чай, подначивали меня, дразнили собак, проворонивших сохатого.

Солнце разом во всем сиянии поднялось над лесом, пробив его из края в край пучками ломких спиц, раскрошившихся в быстро текущих водах Опарихи. Далеко-далеко возник широкий шум, ветер еще не достиг нашего стана, но уже из костра порхнули хлопья отгара, трепыхнулась листва на шипице, залопотала осина, порснула черемуха в речку белыми чешуйками. И вот качнуло сперва густые вершины кедрачей, затем дрогнул и сломился крест на высокой ели, лес задвигался, закачал ветвями, и первый порыв ветра пробился к речке, выдул огонь из костра, завил над ним едкий дым, однако валом катившийся шум еще был далек, еще он только набирался мощи, еще он вроде бы не решался выйти на просторы, а каждое дерево, каждая ветка, листок и хвоинка гнулись все дружней, монолитней, и далекий шум тайги, так и не покидая дебри, принял в себя, собрал вместе, объединил движение всех листьев, трав, хвоинок, ветвей, вершин, и уже не шум, шумище, переходящий в раскатное гудение, грозно

покатился валами по земле, вытянуло из-за лесов одно, второе облако, там уж барашковое пушистое стадо разбрелось во всю ширь озора и по чуть заметной притемненности, как бы размазавшей обрез неба и кромку лесов, объединив их вместе, угадывались с севера идущие непогожие тучи.

Вот отчего так тяжело было дышать вчера, воздух, смешанный с тестом гнуса, изморностью сваривал тело, угнетал сердце – приближалось ненастье.

Шли быстро. Рыбачили мало. Ветер расходился, а с ветром на Енисее, да еще с северным, шутить нельзя, лодка у нас старая, мотор почти утильный, правда, лоцманы бывалые.

Тайга качалась, шипели ветви кедрачей, трепало листья березников, осин и чернолесья. Коля все настойчивей подгонял нас, ругал Тарзана. Тот совсем не мог идти на подбитых, за ночь опухших подушках лап, отставал все дальше и дальше, горестно завывал, после заплакал голосом. Мы хотели его подождать и понести хоть на себе, но брат закричал на нас и побежал скорее к Енисею.

Чем ближе была река, тем сильнее напоры ветра. В глуби тайги он ощущался меньше, и шум тайги, сплошняком катящийся над головами, не так уж и пугал. Но по Енисею уже ходили беляки, ветер налетал порывами, шум то нарастал, то опадал, шторм набирал силу, разгоняя с реки лодки и мелкие суда.

Аким собрал вещи, приготовил лодку, ждал нас и, когда встретил, вместо приветствия заругался:

– Оне люди городские, не понимают, че к сему! Но ты-то, ты-то че думашь своей башкой? – корил он Колю.

– Тарзан отстал. Ждать придется.

– Тарзана дождать – самим погибнуть! – отринул наши городские претензии Аким и маленько смягчился лишь после того, как удалось нам оттолкнуть лодку, выбиться из нахлестной прибрежной волны. – Никуда не денется байбак! Отлежится в тайге, голодухи хватит, умней будет.

Переходили на подветренную сторону, под крутой берег, и теперь только стало ясно, отчего сердился Аким, мирный человек. Через нос лодки било, порой накрывая всю ее волной. Мы вперебой выхлестывали банкой, веслом, ведром воду за борт. Банка и весло – какая посуда? Я сдернул сапог, принялся орудовать им. Аким, сжимая ручку руля, рубил крутым носом лодки волну, улучив момент, одобрительно мне кивнул. Сын, не бывавший на больших реках в штормовых переделках, побледнел, но работал молча и за борт не смотрел. Моторишко, старый, верный моторишко работал из последних сил, дымясь не только выхлопом, но и щелями. Звук его почти заглухал, натужно все в нем дрожало, когда оседала корма и винт забуривался глубоко, лодка трудно взбиралась по откосу волны, а выбившись на гребень, на белую кипящую гору, мотор, бодро попукивая, бесстрашно катил ее снова вниз, в стремнины, и сердце то разбухало в груди, упиралось в горло, то кирпичом опадало аж в самый живот.

Но вот лодку перестало подымать на попа, бросать сверху вниз, воду не заплескивало через борт, хотя нос еще нет-нет да и хлопался о волну, разбивал ее вдребезги, Аким расслабился, сморкнулся за борт поочередно из каждой ноздри, уместив ручку руля под мышкой, закурил и, жадно затянувшись, подмигнул нам. Коля свалился на подтоварник возле обитого жестью носа лодки, засунул голову под навес, накрылся брезентовой курткой, еще Акимовой телогрейкой и сделал вид, что заснул. Аким выплюнул криво сгоревшую на ветру цигарку, пододвинул к себе ногой с подтоварника черемши, сжевывая пучок стеблей, как бы даже заглатывая его, заткнуто крикнул:

– Ну как? Иссе на рыбалку поедем?

– Конечно! – отозвались мы, быть может, с излишней бодростью.

Мокрый с головы до ног, сын пополз по лодке на карачках, привалился к Коле. Тот его нащупал рукой, притиснул к себе, попытался растянуть куцую телогрейку на двоих.

За кормой, за редко и круто вздымающимися волнами осталась речка Опариха, светлея разломом устья, кучерявясь облаками седоватых тальников, красной полоской шиповника, цветущего по бровке яра. Дальше смыкалась грядой, темнела уже ведомая нам и все-таки снова замкнутая в себе отчужденная тайга. Белая бровка известкового камня и песка все резче отчеркивала суземные, отсюда кажущиеся недвижными леса и дальние перевалы от нас, от бушующего

Енисея, и только бархатно-мягким всплеском трав по речному оподолью, в которых плутала, путалась и билась синенькой жилкой речка Опариха, смягчало даль, и много дней, вот уже и лет немало, только закрою глаза, возникает передо мной синенькая жилка, трепещущая на виске земли, и рядом с нею и за нею монолитная твердь тайги, сплавленной веками и на века.

Дамка

Несколько лет спустя после той памятной и редкой в нынешней суетливой жизни ночи, проведенной на Опарихе, пришла телеграмма от брата, в которой просил он меня срочно приехать.

Не сломила его болезнь сердца, он сломил ее. Но беда не ходит одна, привязалась пострашнее хворь – рак. Как только принесли телеграмму, так у меня и упало сердце: «С годами я и впрямь стал встревоженно-суеверным, теперь боюсь телеграмм…»

В аэропорту старого годами, обликом и нравами городка Енисейска, снаружи уютного, но с тем казенным запахом внутри, который свойствен всем мрачным вокзалам глубинки, в особенности северным, гнилозубый мужичонка с серыми, войлочными бакенбардами и младенчески цветущими глазами на испитом лице потешал публику, рассказывая, как и за что его только что судили, припаяв год принудиловки.

«Что за растяпы судьи! – закатывался мужичонка. – Он же истопником в клубе состоит, а клуб отапливается когда? И дураку понятно – зимой! Считай, на полгода он их наякорил!»

Среди вокзала на замытом полу стояла белая лужа – кто-то разбил банку с молоком. Под обувью хрустело стекло, по залу растаскивалось мокро, и, сколь ни наступали в молоко грязной обувью, оно упорно оставалось белым и как бы корило своей непорочной чистотой всех нас, еще недавно загибавшихся от голода. Модные сиденья, обтянутые искусственной кожей, порезаны бритвочками. Заеложенный задами, пупырился грязный поролон меж лепестков испластанной кожи. В вокзале жужжала мухота, со вкрадчивым пеньем кружился комар, кусал ноги, забивался под юбки женщинам, и которые еще не обрядились в брюки, признавали их тут уже не криком моды, а предметом необходимости. По стеклам окон упрямо взбирались и скатывались вниз опившиеся комары. Мальчишка с заключенной в гипс правой рукой левой принялся плющить комарье. По стеклам с одной стороны текли красные капли, с другой – светлые, дождевые. Путь их по стеклу совпадал, где и зигзаги повторялись, но кровавые и светлые потеки, смешиваясь, не смывали друг дружку, и блазнилась в той картинке на стекле какая-то непостижимая, зловещая загадка бытия.

– Перестань! – Женщина в кирзовых сапогах, в старой вязаной кофте, отстраненно сидевшая до того в углу, легонько шлепнула мальчишку по здоровой руке, он отошел от окна, покорно сел, привалился к ней. Женщина уложила больную руку мальчика себе на колени, самого придавила плотнее к боку и, глубоко вздохнув, успокоилась.

– Жжжжи-ве-ом мы весело сегодня, а завтра будем веселей! – Объявился в вокзале исчезнувший было гнилозубый мужичонка. Разболтав бутылку с дешевым вином, он начал пить из горлышка, судорожно шевеля фигушкой хрящика, напрягшись жилами, взмыкивая, постанывая. Пилось ему трудно, не к душе, и отхлебнул он каплю, однако крякнул вкусно, потряс головой и возвестил: – Хар-раша, стерва! – И зашелся, закатился не то в кашле, не то в смехе. – Она мне грит: «Подсудимый, встаньте!» А я грю, не могу, не емши, грю. Все деньги на штрафы уходят. Гай-ююю-гав!

И у самолета выкамуривался мужичонка. Докончив бутылку, сделался он еще болтливее, навязчивей, вставил в петельку телогрейки цветок одуванчика, лип к роскошной чернобровой молодухе с комплиментом: «Ваши глазки, как алмазки, токо не катаются!», тыча в цветок, намекал, что он-де жених, присватывается к ней.

– На одну ночь не хватит – замаю! – незлобиво отбрила его молодуха.

У самолета, как водится в далеких, полубеспризорных аэропортах, пассажирам сделали выдержку. Летчики тут утомлены собственной значимостью и если не выкажут кураж, вроде бы как потеряют себе цену. Взлетные полосы располагались в низине, вокруг аэродрома простирались болота и кустарники. После нудного, парного дождя людей заживо съедал комар. Мужичонку-хохмача комары не кусали по причине проспиртованности его тела – объяснил он и молотил своим наклепанным языком, измываясь над женщинами – они хлопали по икрам ладонями, сжимали ноги, иные, преодолев стеснение, выгоняли зверье из-под подолов руками.

– Жре-о-оть! Жге-о-оть комар! Умы-най зверь, ох умы-най! Чует, где мясо слаще!

– Ты, чупак! Я вот те как шшалкну, дак опрокинесся! – взъелась молодуха. – Нашел где трепаться! Ребятишки малые, а ты срам экий мелешь…

– Молчу, молчу! – Мужичонка плененно поднял руки вверх, истыканные, исцарапанные, неотмытые. – И как с тобой мужик горе мычет?

– Это я с им мыкаюсь! Экой же кровопивец! Камень бы один здоровущий всем вам на шею да в Анисей! – И, ни к кому не обращаясь, громко продолжала: – Че ему! Напился, нажрался, силищи много, кровь заходила, драться охота. Меня бить не с руки – я понужну дак!.. Издыбал, кобелище, измутузил мужичонку. Теперь, как барин, на всем готовеньком в тюрьме – никто такое золото не украдет, и еще передачу требует. Красота – не жись! А инвалидишко в больнице. Вот я и вертюсь-кручусь: одну передачу в больницу, другу в тюрьму, да на работу правься, да ребятенчишка догляди, да свекрухе потрафь… И все за-ради чего? Чтоб дорогому муженьку, вишь ты, жилось весело… У-у, лягуха болотная! – поперла она грудью на мужичонку, и он, отступая под натиском, закривлялся пуще прежнего, запритопывал, заподмигивал:

– Эх, пить бы мне, пировать бы мне! Твой муж в тюрьме, не бывать бы мне!..

– Побываешь, побываешь! – посулила молодуха и, ослабляя натиск, плюнула: – Обрыдли поносники хуже смерти!

Мужичонка хоть и кривляка, но черту, за которой от слов переходят к действиям, не переступил и с молодухи переметнулся на меня, что-то насчет

моей шляпы и фигуры вещал. Я не дал ему разойтись. «Заткни фонтан! – сказал. – А то я тебе его шляпой заткну!» Молодуха на меня пристально поглядела. Отягощенная горем, она угадала его и во мне и кротко вздохнула, продолжая шедшую в ней своим ходом мысль:

– Прибрали бы их, этих пьянчужек, шарпачню эту, в како-нибудь крепко место, за ворота, штоб ни вина им, ни рожна и работы от восходу до темна. Это че же тако? Ни проходу, ни проезду от них добрым людям!

Наконец распахнулась дверца самолета. Чалдоны-молодцы давнулись у лесенки и внесли друг дружку в салон самолета, отринув в сторону женщин, среди которых две были с детьми.

– Экие кони, язвило бы вас! Экие бойкие за вином пластаться да баб давить! – ругалась молодуха, подсобляя женщине с ребенком подняться по лесенке.

Довольнехонькие собой мужички и парни с хохотом, шуточками удобно устраивались на захваченных местах, подковыривали ротозеев. Я пропускал женщин вперед – как-никак Высшие литературные курсы в Москве кончил, два года в общежитии Литературного института обретался – хватанул этикету и в результате остался без места. Билет был, я был, самолет был, а места нет, и вся недолга – пилоты прихватили знакомую девицу до Чуши и упорно меня «не замечали». Я простоял всю дорогу средь салона, меж сидений, держась за багажную полочку, и не надеялся, нет, а просто загадал себе загадку: предложит мне кто-нибудь из молодых людей место, хотя бы с середины пути? Ведь приметы войны заметны на мне, так сказать, и невооруженным глазом, но услышал лишь в пространство брошенное:

– Интеллигентов до хрена, а местов не хватат! Гай-ююю-гав!

Мужичонка помолотил бы еще языком, но в открытую дверь самолета высунулся второй пилот, нехотя поднялся и, приблизившись к надоедному пассажиру, сказал:

– Будешь травить, без парашюта высажу!..

Пилот прицепил меж сидений неширокий ремень, похожий на конскую подпругу, кивнул мне, предлагая, должно быть, садиться. Я вежливо его поблагодарил.

Буркнув: «Была бы честь предложена», – пилот удалился в кабину.

Мужичонка послушно унялся. Куриная его шея, изветвленная жилами, сломилась, голова, напоминающая кормовую турнепсину, закатилась меж сиденьем и стенкой самолета, потряхивалась, стуча о борт.

Пассажиры все тоже задремали. Самолет шел невысоко, трещал хоть и громко, но миролюбиво, по-свойски, и, когда проваливался в яму и, натужно гудя, выбирался из нее, чудилось какое-то извинительное хурканье и дребезжанье, словно бы он отряхивался на ходу от прилипшего облака, беря новый рубеж в гору. Я перевел дух – как все-таки липучи, надоедны пьяницы и как стыдно видеть и слышать ерников, в особенности пожилых, мятых жизнью, выставляющих напоказ свою дурь.

Подкузьмили меня летаки, место заели. Но не бывает худа без добра: самолет почти все время летел над Енисеем и, стоя на ногах, сколько красот я увидел в оконце! Уроженец горных мест, я и не знал, что по Среднему Енисею простираются неоглядные заболоченные низины с редкими худыми лесами, с буроватыми болотами и желтыми чарусами средь них. Пятна и борозды озер с рябью утиных табунов, с белыми искрами лебедей и чаек возникали под левым крылом в то время, как под правым, гористым берегом красным крохалем бежал навстречу красный бакен и над ним, наклоненные, рыжели утесы или выломы гор, меж которыми, по щелям, цепляясь друг за дружку, бежали кверху деревья: желто пенящаяся акация, жимолость, бересклетник и белопенная таволга. Добравшись до верху, одно какое-нибудь дерево раскидывало там просторно и победно ветви. Поле реки, точно от взрывов мин, опятнанное воронками – кружилась вода на подводных каргах, было широко и в общем-то покойно, лишь эти вот воронки да царапины от когтей каменных шиверов и в крутых поворотах сморщенная, как бы бороной задетая гладь только и оказывали, что внизу под нами все же не поле, а река, наполненная водой и неостановимым движением. Приверхи чубатых островов пускали стрелы продоль воды, лайды там и сям, отделившиеся от реки светлыми, ртутно-тяжелыми рукавами, катились в леса и терялись в них.

Просверки серебра и золота на воде, клочок ярко белеющей пены на горбине реки, скоро оказавшийся теплоходом; песчаные отмели, облепленные чайками, с высоты скорее похожими на толчею бабочек-капустниц; вороны, скучающие над обсыхающим таем, в которых им всегда остается пожива; шалаш, наскоро крытый еловой корою; на зеленом мыске костерок, пошевеливающий синим

лепестком дыма, при виде которого защемило сердце, как всегда, захотелось к этому костерку, к рыбакам, кто бы они ни были, как бы ни жили в городу, у реки непременно приветны и дружелюбны. Вон они глядят из-под руки на нас, маленький рыбак в оранжево-черных плавках перекладывает удилище, чтобы махнуть рукой самолету; даль и близь, вечность и миг, – страх и восторг – как все-таки непостижим всем нам доступный мир!..

– Гражданин! Гражданин! – Я очнулся. За рукав меня дергала молодуха. Всю дорогу она сидела, закрыв глаза, уронив на колени крупные красные руки – на сплаве или на скотном дворе работает. – Посиди! – словно в больнице, тихим голосом предложила она, поднимаясь. – Ноги-то остамели небось?

– Спасибо, спасибо! – придержал я ее за плечо и, чтоб не обидеть отказом, дружески ей улыбнулся: – У меня сидячая работа.

– А-а, – молодуха ответно мне улыбнулась, – в отпуск в Чуш-то или в командировку?

Я сказал ей, зачем лечу, и она опечалилась.

– Знаю я твово брата. Шоферил он в совхозе. Худой сделался, шибко худой. Узнаешь ли?

Бедами и горем точенная, по-женски чуткая, она не стала больше меня тревожить разговорами, снова прикрыла глаза, наслаждаясь редким покоем и отдыхом, а скорее всего страдала, мучилась в себе и про себя.

Гудел, покачивался самолетик, дребезжал железной дверцей. Вдруг его качнуло, ровно бы предоставляя мне возможность увидеть еще раз реку и землю, но уже опрокинутыми на ребро, небо в самом окошке – протяни руку и хватай клочья ваты из облака. Круг завершился, и самолет по наклонной катушке реки заскользил к поселку Чуш.

С воздуха Чуш похож на все приенисейские селения, разбросанные в беспорядке, захламленные, безлесые, и если бы не колок тополей, когда-то и кем-то посаженных среди поселка, не узнал бы я его. Вокруг поселка и за речкой, в устье, разжульканном гусеницами, раскинулся, точнее сказать, присоседился к широкой поляне, заросшей курослепом, сурепкой и

одуванчиками, чушанский аэродром с деревянным строением, нехитрым прибором да двумя рядками фонарей-столбиков. На аэродроме паслись коровы, телята, кони, и когда наш самолетик, зайдя с Енисея, начал снижаться, целясь носом меж посадочными знаками, едва видными из травы, впереди самолета долго бежал парнишка в раздувающейся малиновой рубашонке и сгонял хворостиной с посадочной полосы пегую корову, неуклюже, тяжело переваливающую вымя. Казалось, самолет вот-вот настигнет корову, торнет ее под норовисто поднятый хвост, но все закончилось благополучно; и парнишка, и корова, и пилоты, должно быть, привыкли ко всему тут и как бы даже поиграли немножко, позабавлялись.

Из самолета я вышел следом за пилотом, с выверенным форсом приспустившим на правый висок синий картуз с эмблемой, на глаз, глядящий сквозь людей в пространства. Второй пилот волок под мышкой на волю разоспавшегося, ничего со сна не понимающего мужичонку. Он цапался руками за сиденья, заплетался ногами, чего-то бормотал. Пилот вышвырнул его из самолета. Шмякнувшись в траву, мужичонка ойкнул, проснулся, куражливо потребовал головной убор. Пилот пошарил рукой под сиденьем, выбросил мятую кепку мужичонке. Хлопнув ею о колено, мужичонка ткнул кулаком в середку и надел головной убор задом наперед.

По пути с аэродрома мужичонка останавливался возле каждого дома, подробно повествуя, как его судили, сколь отвалили, как достойно, можно сказать, героически вел он себя на суде и как ему славно погулялось в Енисейске в честь такой победы. Около старой дощаной будки караульщиком местной водокачки стояла баба в старом пиджаке, с мулатски-костлявым коричневым лицом. Поджидая мужа, который явно не спешил домой, она сжимала в руке сырую черемуховую палку.

– Дамка! Дамка! Дамка! – кликала она. – Иди-ко, иди-ко, я те че-то дам!..

Странное такое прозвище мужичонка получил за свой причудливый смех. Один хозяин, услышав тот смех во дворе, заорал, греша на свою дворнягу:

– Цыть, Дамка! Цыть, пустобреха! На кого хайло дерешь?!

Дамка в Чуши, да и на белом свете очутился по недоразумению. В первом случае мать, обсчитавшись в сроках, зачала его, во втором расписание подвело.

Завербовавшись в Игарку на Карскую, Дамка кутил дорогой, пропивал подъемные. В Чуши побежал на берег за вином, в очереди затрепался, пароход сократил стоянку, и он от него отстал. На местном катере вернулась в Чуш его бедолажная супруга, ни слова не говоря, выхватила полено и дубасила мужа до тех пор, пока не выдохлась. Воткнув полено обратно в поленницу, она еще пнула мужа, села на дрова и стала громко причитать, обсказывая незнакомым людям свою горькую жизнь.

Пестрому населению Чуши Дамка пришелся ко двору – всю жизнь сшибающий бабки, он не мог быть чушанцам угрозой в смысле наживы, он даже дополнил и разбавил своим ветреным нравом и плевым отношением к богатству угрюмый и потаенный сброд. Дамку презирали, но терпели, забавлялись им, считали его да и всех прочих людей простодырками, не умеющими жить, стало быть, урвать, заграбастать, унести в свою избу, в подвал, в потайную яму со льдом, которая есть почти в каждом чушанском дворе.

Не очень-то подходил поселок Чуш и они поселку, Аким с Колей, люди нервного, но бескорыстного нрава, да было угодно судьбе, чтобы родня Колиной жены, гулевая, нахрапистая, в которой уже двое молодцов-сыновей отбывали срок за поножовщину, оказалась уроженцами именно этого, и никакого другого, поселка.

Ребятишки-племяши играли возле дома в лапту, узнали меня, бросились было навстречу и остановились в отдалении, нерешительно улыбаясь. Я подошел, поцеловал их в запыленные мордахи, чем смутил обоих до невозможности – эти младые сибиряки к нежностям не приучены. Схватившись за ручку чемодана, они упрямо его тянули, каждый в свою сторону. На окне колыхнулась занавеска, мелькнуло заспанное и оттого совсем узкоглазое лицо Акима. Он всплеснул руками и, босой, всклокоченный, вляпываясь пятками в куриный помет, вывалился из избы.

– Ё-ка-лэ-мэ-нэ! Вот дак да! – колесил он мне навстречу и сокрушался на ходу: – Аэропорт одно свое: «Не знаем, когда самолет. Не знаем…» Ночь на реке полоскался, ухлопался. На половики прилег, и готово… Вот дак встретили гостя! Вот дак да!

– Как Коля-то?

– Увидишь сам.

Коля пробовал подняться с кровати, делал он это чудно: сначала ловил в воздухе рукой конец невидимой веревки, пытаясь ухватиться за него и затем уж подтянуться, взнять себя. Раскидал по свету своих детей папа, развеял, но жесты его, привычки, особенно к вину, не во всех нас, но продолжились. Не поймавшись «за веревку», Коля опал на подушку, прижал к глазам руку, до того исхудалую, что она раздвоилась в запястье.

– Вот… заболел, падла! Видно, помирать…

Многое забудется, уйдет из памяти, но тот детски беспомощный жест, слова, грубостью которых брат хотел пришибить свою беспомощность, унизить болезнь – останутся. И чувство вины останется, на этот раз особенно острое оттого, что брат моложе меня на десяток лет, я прошел войну и уцелел, в жизни видел много худого, но еще больше хорошего. А что видел он? С девяти лет таскался по тайге с ружьем, поднимал из ледяной воды сети, наживлял на ветру, на холоде переметы, рубил майны во льду, делал то, что не хотел делать наш развеселый папа, – кормил им брошенных детей и потому так страстно, порой слепо любил и баловал он своих ребятишек, словно за себя выплачивая им недополученную любовь или предчувствуя, что жить им в сиротстве, и не повторят ли они его долю, не натаскаются ль по свету, не надорвут ли здоровье, не собьются ли с пути?

Вечером, когда пришли из медпункта ставить наркотический укол, Коля сказал Акиму:

– Идите! Витя Енисей любит. Какой вам тут интерес со мной? – И дрогнул губами, отвернулся – не любил он себя поверженного, слабого. Бегучий, услужливый, он бы сейчас в лодку да по реке нас, встречь волнам и ветру, да на Опариху бы…

На горке, возле магазина «Кедр», от которого спускалась ломаная лесенка к дебаркадеру, собралась молодежь – цвет поселка Чуш. Название поселка мне еще в прошлый приезд пытались объяснить старожилы: на Оби, невдали от которой берет начало и выходит к Енисею река Сым, местные рыбаки любят есть парную стерлядь – нарежут ее, почти еще живую, посыплют солью и перцем да под водку и наворачивают – нехитрое это блюдо называется чушь. Не оттуда ли, не с Оби ли, приплыло название? Но чушь здешние жители не едят, они

предпочитают малосольную стерлядь. Дальше на север рыбу потребляют и сырую, свежую, почти живую сагудают, говоря по-местному, охотней всего белую: омуля, муксуна, нельму. Название поселка, скорей всего, произошло от того, что когда-то по границе Сыма была окраина енисейского земледелия и так много водилось тетеревов возле полей, что веснами кипели проталины от дерущихся петухов и слышалось воинственное чуф-фыш, которое издали сливалось в сплошное чушшшш! Чушшшш! Чушшшш! Как бы там ни было, а имя старинного поселка западало в память сразу и навсегда.

Вверх и вниз по реке поселок отделяли от луговин, полей, болот и озер две речки, одна из которых летом пересыхала, другая была подперта плотинкой на пожарный случай и сочилась зловонной жижей. В гнилой прудок сваливали корье, обрезь с лесопилки, дохлых собак, консервные банки, тряпье, бумагу – весь хлам.

В центре поселка, возле тех самых тополей, которые прежде всего виделись хоть с парохода, хоть с самолета, была сколочена танцплощадка, под настилом которой, наполовину сорванным, клались курицы, и пьянчуги лазили на брюхе под танцплощадку, выкатывали оттуда яйца на закусь. В бурьяне, разросшемся в углах изломанной ограды, окаймлявшей территорию «парка», курицы даже парили цыплят, а были когда-то здесь ворота, продавались билеты на танцплощадку, но ни в горсть, ни в сноп шло дело, никто на билеты не хотел тратиться, руша финансовые устои, парни перемахивали через ограду и перетаскивали за собой партнерш.

Танцы прекратились, обмерла музыка. Крашеные ворота со словами «Добро пожаловать!» кто-то утащил на дрова. Общественная жизнь пришла в упадок. Парк оккупировали козы, свиньи, куры, играли тут ребятишки в прятки; в поздний час под тополями можно было слышать игривые смешочки, страстные стенания, подивоваться разноцветьем нейлоновых гультиков и ослепнуть от непорочной свежести нагих и свободных тел – ночь тут летом хоть и с комарами, но светлая, теплая, располагающая к грешным вольностям.

Парк с тополями, с дедами-репейниками, с кое-где уцелевшими звеньями ограды, с кругляшом сиротливой танцплощадки, если смотреть с реки, от пристани, был вроде задника декорации. Слева, на возвышении яра, горбилась тесовой крышей столовая, к которой примыкало здание с мачтой и пучком проводов, протянутых в просверленные дыры, – пристанский пункт связи, огражденный табличкой: «Вход посторонним воспрещен». Однако в комнате

пункта связи, запыленной, продымленной, вечно околачивался вольный народ, отставший от теплохода или дожидающийся его, потому что дебаркадер на ночь запирался, шкипер со шкиперихой, блюдя порядок и чистоту, людей с него гнали под предлогом борьбы с бродяжничеством, и весь свет, кроме сигнальных фонарей, выключали, подпуская пассажиров к кассе, в камеру хранения и к весам за полчаса до прихода судов.

Справа, все на том же яру, над выемкой пересохшего ручья, на вытоптанном взлобке, похожем на могильный холм, насупленно темнело мрачное, свиньями подрытое помещение с закрытыми ставнями и замкнутыми на широкую железную полосу дверьми, так избитыми гвоздями, что можно было принять их за мишень, изрешеченную дробью, – это магазин «Кедр», самое загадочное помещение поселка Чуш. Оно чем-то напоминало закрытую церковь, сумрачную, холодную, глухую к мольбам людским. Однако свежо белеющие на двери объявления, прибитые крупными гвоздями, и мерцающий в щелях свет показывали, что заведение живо и дышит.

Дважды бывал я в поселке Чуш и всего раз сподобился застать «Кедр» открытым, во все остальные времена липли пластами к дверям магазина объявления, смахивающие на бюллетени смертельно больного существа. Сначала короткие, несколько высокомерные: «Санитарный день». Затем приближенные к торговой специфике: «Переоценка». Следом как бы слабеющей грудью выдохнутое: «Учет товаров». После некоторой заминки ошарашивающий вопль: «Ревизия». Наконец исстрадавшейся грудью долго в одиночку бившегося бойца исторгнуто: «Сдача товаров».

Гнилое мрачное здание с крысиным визгом и мышиным писком располагало к делам и мыслям темным, к действиям недружелюбным. Наглухо запертый «Кедр», сносящийся с миром посредством кратких бюллетеней да задней дверью, загороженной ящиками, всегда жил напряженно. В нем беспрестанно менялись завы и продавцы, прямо из-за прилавка отправляясь за тюремную решетку по причине плутней и лихоимства, зато не менялся товар и равнодушное к покупателю отношение, имевшего наглость иной раз беспокоить местную элиту, в которую давно и прочно зачислили себя работники сельского прилавка, просьбами насчет какого-то стирального порошка, замазки для окон, школьной формы, модной обуви, платья, пальто. Находились даже такие наглецы, что хотели купить зубную щетку и пасту. В Чуши – пасту! Как вот работать с таким народом? Его родитель тележного скрипу боялся, а он, морда чалдонская, пасту требует! Лучше и не работать! Потому-то большую часть

вешалок в «Кедре» занимают телогрейки и наряды образца этак сороковых – пятидесятых годов – все старо, пыльно, засижено мухами. Зато самые жгучие новости и сплетни черпались в «Кедре».

Но сколько радости, сколько бодрости чушанцам от динамика, установленного на крыше пристанского узла связи. Орет он дни и ночи, извещая о движении жизни в стране и по всем земным континентам, тревожит музыкой. Вечером меж «Кедром» и столовой прогуливается молодежь, томясь ожиданием пассажирского теплохода, лелея надежду, что с прибытием его что-нибудь случится, кто-нибудь приедет в гости, может, драка будет. И хотя закон об алкоголизме вступил в полную силу, все точки со спиртным закрыты, местный милиционер лично проверил, точно ли они заперты, все равно много народу под большим «газом». Мужики, пившие на бревнах возле воды, уже посваливались которые. Держался Дамка. Видать, он уже «соснул минуту»; держался Командор и Грохотало. Ну, этих героев разве что гаубицей свалишь. Доносился с бревен, от реки оживленный говор, то и дело раздавалось: «Гай-юю-юю-гав!» – должно быть, Дамка вещал про поездку в Енисейск.

На яру возникла живописная компания. Впереди нее, хлопая пыльными кистями расклешенных штанов, хозяйски уверенно шагала девица в вельветовом долгополом жилете, надетом на оранжевый свитер наподобие спецовки. Приехавшая на каникулы из высшего учебного заведения под родительский кров, смолой или того еще чернее чем-то крашенная особа всех тут подавила своей красотой, дорогим нарядом, умением пить культурно, глоточками вино, закусывая затяжкой дыма. На груди девицы, вкусно сбитой, бросая ярких зайцев, горела золотая, не менее килограмма весом, бляха, и я невольно прикинул: сколько же соболиных, лосиных, беличьих, горностаевых, осетровых и прочих голов ушло на такую модную справу?

За выдающейся студенткой, словно на собачьей свадьбе, тащились, преданно на нее взирая, чушанские парни, дальше на почтительной дистанции держались местные девчонки, более пестро, но менее ценно одетые. Все курили, смеялись чему-то, а меня не покидало ощущение неловкости от плохо отрепетированного, хотя и правдоподобно играемого спектакля. В динамике на крыше пункта связи какой-то прославленный квинтет иль диксиленд мордовал волшебную украинскую «Вечорныцю», отрывая на мотив ее новомоднейший шлягер: «Ты увидишь, что напрасно называют Север Крайним…»

Девица копытила ногами, бляха подпрыгивала и билась на ее груди. Вся пестрая стайка, подражая кумиру, взбивала пыль, вихлялась, выкрикивая чего-то. На всю эту компанию, в особенности на модную девицу, широко раскрывши рты, не моргая, смотрели ребята старообрядческого рода, толпящиеся в сторонке. Все они были уловимо похожи друг на дружку, с казачьими кудрявыми чубами, раскосыми глазами северных матерей, в шитых еще на руках сатиновых и шелковых рубахах с поясами. Но и тут кое у кого уж узконосые туфли, где часики с блескучим браслетом, где пестрые носки, а то и редкостные брюки-джинсы проскальзывали. Таежные парни промаргивались на свету, осматривались, принюхивались. Они на танцы еще не горазды, им бы по-ранешному – зажать цацу в оранжевом-то за баней иль меж поленниц. Да робеют пока, подходы изучают. На глазах вылупаются кавалеры нового помета, жадно тянутся к «передовому опчеству», на ходу с кожей сдирая с себя древние, заржавелые вериги прародителей. «Тяти» еще блюдут устои, но жила-то и в них ослабла, колебнулась старая вера, матерщинничать, пить на людях, табак курить сплошь и рядом взялись. Молодому поколению и Бог велел оскоромиться, пристать ко всеобщему движению. Хватит, попятились, поупорствовали и сколько же всякого удовольствия упустили!

«Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним…» – выбрасывал из круглой металлической пасти динамик, а под яром, по берегу, оплесканному мазутом, сплошь замусоренному стеклом, банками, щепой, обтирочным тряпьем, крепко обнявшись, плелись куда-то мужик с бабой и, не слыша никаких новых песен, во всю головушку ревели: «Я соперницу зарежу и соперника убью!.. А сама я, молодая, в Сибирь на каторгу пойду…»

От Кривляка, из-за Карасинки, проступил в ночном мглистом мороке призрак пароходика местной линии, ласково именуемого «Бетушкой». По лестнице с большим рюкзаком на горбу, с чемоданом и сеткой в руках, вытаращив красиво, в меру подведенные глаза, тащилась библиотекарша Люда. Судя по потугам унести все свое имущество в один прихват и при этом остаться независимой, модно и в то же время со вкусом одетой, не то что это топотящее в пыли кодло, труженица местной культуры покидала Чуш навсегда, отработав послеинститутский «минимум». Ступени на лестнице выломаны с расчетливым коварством – через одну, перил нет. Узкая шерстяная юбка мешала Люде широко шагнуть, обойти же крутик логом не хватило сноровки, запарилась, видать, со сборами.

Народ повсюду замер, ожидая: сверзится библиотекарша с лестницы или нет? Даже Аким заинтересованно приостановился. Еще спускаясь к реке, я заметил осанистого парня, стриженного сзаду под поэта девятнадцатого века, спереду – под ссыльного раскольника. На груди его висел массивный крест червленого серебра. Парень чистил крест кирпичом, наждачной бумагой и суконкой, но все равно виднелась сыпь вечности, сеево ли человеческих слез, застывшие ли прикосновения губ молящих о милости. Бесценный крест древних мучеников, донесших его от времен смутных, может, еще первоцарских или никонианских, висел на дешевой цепочке от часов-ходиков.

Парень катал на лодке белокурую похотливую девку – заходил выше дебаркадера, складывал лопашны, перебрасывал с кормы к себе на колени пассажирку и на глазах честного народа шарился губами меж подбородком и воротом цветастой девичьей блузки. На берегу кто плевался, кто причмокивал губами, кто цокал языком. Девица никакого внимания не обращала на народ, все порывистей курила сигарету, острыми ногтями выщипывала изо рта табак, потому что гребец покинул лодку, спеша на помощь библиотекарше. Люда приостановилась, опустила чемодан, сетку и, когда парень приблизился, укушенно вскрикнув, отвесила ему оплеуху ото всей-то душеньки.

– Гай-ююю-гав!

– Лихо!

– Браво, Людок! Браво! – На яру заколотила в ладоши девица в оранжевом, и партнеры поддержали воительницу одобрительным гулом и аплодисментами.

– Тварь! Чего изображаешь? – Девица в лодке отбросила сигарету и, взяв руки под бока, закривлялась: – Я н-не лягу под стилягу!..

– Катись! – не то ей, не то Люде крикнул парень и, улегшись на плотик, забросив крест на спину, принялся полоскать водою рот, девку в лодке несло по течению, и она, покинуто хныкая, вразнобой, неумело гребла веслами к берегу. Парень не шел ей на помощь, отплевывал кровяную воду, утирался, искоса наблюдая, как мы с Акимом помогаем Люде внести багаж на дебаркадер.

Забыв поблагодарить нас, Люда грохнула чемодан на весы и обвела берег расширенными бешенством и беспомощностью глазами:

– Да будь он проклят, этот Север, и тот, кто мне его подарил!

– Ну а весы-то чем виноваты? – проворчал шкипер, откидывая скобку и передвигая пальцами по стальной полосе весовой балансир. – Вас тут много, нервных, а мне за инвентарь отвечать. – И выдал назидание: – Поставила б мужикам бутылку и не кожилилась бы.

– Занимайтесь своим делом!

«Бетушка» подала сирену. Шкипер, все еще поругиваясь, поспешил принимать чалку. Народ с яра потянулся к дебаркадеру.

Я сидел на бревне, бросал камни в воду и неожиданно услышал позади хруст гальки, затем знакомый голос:

– У вас закурить не найдется?

– Не курю.

– Не курите? – переспросил Дамка, бесцеремонно усаживаясь на одну со мной лесину. – Здоровье бережете или деньги экономите?

Мне с ним разговаривать не хотелось. Мне он надоел еще в Енисейске. Из головы не шел Коля. Лежит сейчас в горнице, оглушенный снотворным, полуспит-полустрадает, но скоро действие наркотика ослабнет: чем тогда-то помогать парню? Подошел Аким, помогавший Люде грузиться на теплоход, и, оскорбленный рублевкой, которую она хотела ему сунуть: «Нисе в людях не понимат! В гробу я видел ее рваный…» – поздоровался с Дамкой за руку, дал ему закурить. Дамка мотнул головой на меня, Аким ему что-то сказал, и они повели дружескую беседу о разных разностях.

«Бетушка» отвалила от пристани, правясь вверх по Енисею. Из-за того, что всю ночь не темнеет, никому спать не хотелось, народ не расходился с берега, шлялся в поисках развлечений и порой находил их. Дамка развлекался тем, что подкарауливал парочки в гуще тополей, за поленницами, в банях, в кустах и прочих укрытиях, и наторел в шпионском деле до того, что спрятаться от него сделалось невозможно. За докучный интерес парни изволохали Дамку, он вроде

бы унялся, но шпионское ремесло оказалось такое неистребимое, душу гложущее, что не было от него покоя, так и тянуло в поиск.

Притерся Дамка к поселку Чуш. Рыбаки охотно брали его с собой – для потехи. И, притворяясь дурачком, показывая бесплатный «тиятр», он между делом освоился на самоловах, схватил суть рыбной ловли, обзавелся деревянной лодчонкой с поношенным мотором, которую продал ему убегавший от властей залетный браконьер. Дамка выбросил два конца и, к удивлению мужиков, стал довольно-таки бойко добывать рыбу и еще бойчее ее сбывать встречным и поперечным людям. На теплоходах, самоходках, катерах, автомашинах, самолетах и вертолетах и на прочем водном и воздушном транспорте догадливые люди возят «специальный запас горючего», выменивают на него в летнюю пору рыбу, дичину, мясо, зимой – орех, шкурки; расчет всюду натуральный, единица обмена – бутылка.

С судна, идущего по соседней реке, Оби, было изъято больше тонны рыбы, «добытой» с помощью бутылки. Чтобы обыскать это из года в год занимающееся поборами судно и привлечь к ответственности капитана, который разжирел на перепродаже рыбы до того, что уж дачами и автомобилями завалил себя и детей, потребовалась санкция прокуратуры, но до Бога с плоского Приобья высоко, до прокуратуры далеко. И ловят свободно рыбку деляги вроде Дамки летом самоловами, зимой подпусками да радуются удачливой жизни. Между тем до войны таких вот «джентльменов удачи» на Енисее почти не водилось. Тогда рыбозаводы заключали договоры с местными и наезжими рыболовами, выдавали им аванс, ловушки, раз в неделю объезжали с рыбосборочным ботом артельные становища, принимали добычу, снабжали рыбаков продуктами, рукавицами, фартуками, сапогами и прочей спецодеждой. И они-то, эти маленькие, часто из двух всего мужиков состоящие, артели были самым строгим надзором на реке, потому что хотели добыть больше рыбы, выполнить план, чтобы получить осенью законные премиальные. И организации, ведающие старательским ловом, платили им за рыбу побольше, чем постоянным колхозным бригадам.

Я и сам когда-то рыбачил с отцом и его напарником, Александром Высотиным, в такой вот договорной артели, и сколь ни приглядывался к речным пиратам, сколь ни вел разговоров о нынешних порядках в рыболовецком промысле, убедился в том, что они с облегчением прокляли, кинули бы темную, рисковую свою работенку, перешли бы за милую душу на законный лов, только чтоб рассчитывались с ними честь по чести, не медными копейками…

Ну а пока на реках торжествует ночной, темный лов. Дамка вино попивает, песенки попевает. Один раз попалось ему тридцать стерлядей, пара килограммов по шести – уж пофартило так пофартило! Главное, рыба почти вся живая. Сонных стерлядей выбросил за борт всего несколько штук. Утомился рыбак, но такая радость на душе – кричать хотелось. Заткнет он бабе своей пасть, заткнет! Она его за рыбалку со свету сводит. Глаза еще не продерет со сна, а уж изрыгает: «Не просыхашь, мокра стелька! Жись свою и мою загубил!..» И все в таком вот роде, прямо и вспоминать неприятно. Покуривал Дамка папиросочку, плыл на лодочке, в подтоварнике стерлядочки хлоп да хлоп об доски хвостиками, иные хребтиком скреблись-поцарапывались – живучие, игручие рыбешки, поскорее им на сковородку охота.

Мотор не заведен, самосплавом двигалась лодка, хозяин ее наслаждался природою и пароходика вроде бы никакого не ждал. Налетели на Дамку пауты. В этой местности они с воробьев почти, башки у них вертучие, фосфорные, отвислые зады, как у зебров, полосаты, жалы что железнодорожный костыль, зевни – и он те тут же, пуще путейской бабы, всадит его в спину или еще куда. Кружат над лодкой пауты, гудят военными истребителями, лбы, будто у такси, зеленым светятся.

– На! На! Куси! Куси! – подтравливал зловредное зверье Дамка, протягивая плоскую, с обломанными ногтями руку. Сам себе не веря, паут опустился на кожу. От запаха бензина, от недоверия ли, может, от предчувствия близкой крови зад паута ходуном ходит. «Насосы в ем, паразите, действовать начали», – заметив, как наклонился, оттопырил зад и жадно замер паут, спохватился Дамка и со всего маху саданул паута – увлекся тот, бдительность утратил – и вот тебе результат – поплыл кверху брюхом, крылом и лапами шевелит, взняться пробует. Хлесь паута какая-то рыбешка – только его, голубчика, и видели! «Взаимодействие сил, – ударился в размышления Дамка. – Природа сама устанавливает баланец меж добром и злом».

На горизонте показался дымок. Под ним, под дымком, силуэт обозначился, с паута величиной. Сладь по нутру рыбака раскатилась, под ложечкой засосало и такая жгучая истома прошила все тело, ну что тебе перед первым грехом. «Матушка Царица Небесная иль какая еще! Вот они, мгновения жизни, ради которых мокнешь, головой рискуешь, с бабой грызесся!..»

Паут в лодке был не один, их пара была, муж и жена скорей всего. Оставшись вдовой, паутиха-стервоза слетала на берег, за подмогой. Над головой Дамки

завертелось, загудело с десяток истребителей. «У-у, контрики! Чего доброго, цапнет который!»

Дамка хватанул заводной шнурок. Мотор «не взял», пукнул, хукнул, выбросил дымок. С третьего или четвертого дерга «схватило», понесло. Дамка за борт лодки поймался – хватит, вываливался уж, ладно, пароход шел, спасательный круг бросил. Вынули Дамку багром из воды матросы да еще пьяным напоили. И распотешил же он тогда пароходный народ!..

Хрипит, чадит перетруженный моторишко, форсунки в нем или гайки какие дребезжат. Возьмет и развалится! Что тогда? Но нет возможности щадить мотор, скорее требуется плеснуть на каменку – все в рыбаке спеклось. «Эх, „Вихрем“ бы обзавестись! – вздыхал Дамка. – Да где его достанешь? „Вихри“ на магистрали продают, чтоб в воскресенье иль в заслуженный отпуск трудящиеся могли мигом доставлять красоток на лоно природы и культурно с имя отдыхать».

Душа Дамки млеет от хороших предчувствий, всех ему людей прощать и любить хочется – он перед целью и все ближе исполнение его вожделенных желаний. Шел не теплоход, шел однопалубный кораблик с уютными, свежекрашеными надстройками, радио на нем играло. «Начальство! – уважительно подумал Дамка. – По службе куда-то катит. Можно и дерзнуть – не обеднеют…» С такой бодрой мыслью Дамка заглушил мотор, вынул из подтоварника стерлядку покрупней, встал во весь свой рост, да какой же у него рост-то! Взгромоздился на беседку, чтоб скорее заметили, и, взявши рыбину за хвост, замахал ею, закричал:

– Э-э, громадяне-товаришшы! К вам обращаюсь я, друзья мои, со стоном алчущим! Продаю-у-у, чуть не задаром отдаю-у! Э-э-эй!..

Стерлядь была живая, изгибалась, выбрасывала круглые хваткие губы, топорщилась жесткими плавниками, ровно бы желая улететь.

Дамку заметили, подали ему сигнал, не предусмотренный ни одним речным правилом, но все же на всех наших водах известный – этакое обволакивающее, ласковое подгребание под себя белым флажком. Сблизились, сошлись, будто при абордаже: узкая старенькая лодка и беленький кораблик с черным корпусом и деловито-строгой обстановкой на палубе, даже радио не бодрилось, не орали

по нему, как под топором. Лишь какая-то нерусская дамочка почти шепотом, на ушко жаловалась, умоляла: «Кондуктор, кондуктор, продай мне билеэ-э-эт!» – «А хрена не хочешь? Билэтов нэт!» – Дамка всякую песню, пословицу ли мгновенно переиначивал на свой лад. «Да-а, строгий, видать, народ едет, деловой. Геологи, не иначе, а то из министерства какого, с проверкой финансов и дисциплины труда». Дамка внутренне подобрался, построжал.

Лодку прикрепили к кормовому гаку кораблика, рыбака почтительно пригласили в салон. Там его несколько насторожили картинки, прибитые к стенам. На одной картинке катастрофа жизни изображена – завод с трубой на берегу, из него мазут потоком в реку хлещет, осетры, окуни, лещи, судаки кверху брюхом плавают, раззявили рты, испускают дух. «Ат, што делают, сукины дети!» – поскорбел лицом Дамка и обнаружил на соседней картинке своего брата самоловщика. Осетрина икряной, судя по раздутой пузе, запоролся на крючьях и сдох, но как-то так сдох, что сохранил способность осуждающе смотреть на человека, скорчившегося в углу картинки. От пронзающего рыбьего взгляда перекосило рожу самоловщика, а рожа-то, рожа – не приведи Господи! Брюзглявая, немытая, нос сизый, глаза мутные – приснится, веруешь не веруешь, закрестишься. С другого боку картинки человек с остро сдвинутыми бровями, трезвый, на Черемисина, местного рыбинспектора, смахивающий, стоял во весь рост, будто на давнем военном плакате, тыкал пальцем прямо в Дамку: «Браконьер – враг природы! Браконьеру – бой!»

Рыбак поежился и давай позанимательней чего отыскивать и меж этих и других картинок совсем нечаянно обнаружил в тетрадную страничку величиной застенчивый листок, на котором красным и синим написано: «Товарищи рыбаки! Не губите молодь промысловых рыб. Выпускайте ее без повреждений изо всех орудий лова в водоемы. Помните, молодь – основа ваших будущих уловов!» Душа Дамки стронулась с места, он заозирался, наткнулся взглядом на человека, свойски ему улыбающегося.

– Ну и как картинки?

– А мы молодь и не трогам, для будущих оставлям уловов, мы ее берегем! Гай-ююю-гав! – вскинув узкое рыльце в потолок, обитый белым пластиком, залился рыбак. Человек доставал из стола какие-то бумаги, улыбаясь, все еще приветливо качал головой, но уже с грустинкой. «Может, у его жена померла или еще какое горе случилось, а я ржу!»

– Почем стерлядь? – все роясь в столе, поинтересовался незнакомец.

Дамка надеялся, как водится, сперва разгонную поллитровку выставят, закуску вроде свежего, редкостного в эту пору в этом краю огурца дадут, потом уж торг откроется. Но ничего не подавали. «Ах, вы так!..»

– Полторы рубли!

– Н-ну, любезный! Везде по рублю.

– Везде по рублю, а у нас полторы! И никаких гвоздей! – Дамка даже сам себе понравился, такой он боевой, такой непреклонный. Во как закалила характер река и природа! Этак пойдет дальше дело, так он, пожалуй, возьмется свою бабу бить, а не она его. И тем стиляжникам, что за шпионаж наказали, тоже по отдельности навешает.

– Это почему же у вас такая дороговизна?

– Моторы худы – раз! – загнул палец Дамка. – Бензин поди достань – два! Рыбнадзор пежит – три! Вино вздорожало – четыре! – И как только помянул про вино, вся спесь разом утратилась, понесло Дамку, затараторил он базарной торговкой, не соблюдая никакой солидности и пауз: – Ангарская пошла от жиру текет баба именинница магазин далеко торговаться недосуг в роте пересохло…

– Постой, постой! – взмолился пароходный человек, отыскав наконец ручку и открывая какую-то книжку. – Пулемет! Чкас! Прошил! Оглушил!..

– У Прасковьи чирьи, у Меланьи волдыри, если дороги стерлядки, хошь бери, хошь не бери! – подхватил к месту бойкую складуху Дамка. – Гай-ююю-гав!..

– Соловей! Баскобайник! – заново обмерил взглядом Дамку человек. – Ершов! Прямо Ершов!

Дамка вошел в интерес. Не тот ли это Ершов, что оргнабором в краевой конторе ведал? Солидный такой мужчина, некурящий. У него еще жена, не первая, вторая жена на пристани кассиршей работает. Оказался однофамилец Ершов, автор «Конька-горбунка». Пошел разговор про оргнабор и другие, известные

Дамке, организации, в ходе которого он все про свою жизнь рассказал и фамилию выболтнул. Народ в салон набился, слушает, похохатывает. Дамка и рад стараться, жалко ему, что ли, потешить людей, да и не терял он окончательно веру на предмет угощения.

Но приближались к Чуши, и гражданин, так загадочно улыбавшийся, грозно хлопнул по столу:

– Хватит! Повеселились! – и обратился к молодому парню в речной форменке: – Сколько?

– Тридцать голов. Сорок семь килограммов.

– Та-ак! – Гражданин уставился на Дамку, точно генерал в погонах с красной окантовкой. – Нагреть бы тебя на полсотни за каждую голову и лодку изъять. Да за бесплатный спектакль скидку сделаем. На вот распишись. Жене на именины…

Дамка глянул на бумагу и подавился языком. Первый раз в жизни не мог найти слов. Пробовал рассмеяться, давая понять, что и сам он большой хохмач, шутку ценит и понимает, но вместо привычного «гай-ююю-гав» получилось «уй-ююю-у-у…».

– Товаришшы! Товаришшы! – лепетал он в полуобмороке, когда его ссаживали обратно в лодку. – У меня дед красный партизан и отец тоже… заслуженный!.. Товаришшы…

Кораблик, весело попукивая трубой, бросая кругляшки дыма, уходил на север. Лодку кружило течением, несло мимо Чуши, к Карасинке и пронесло вдаль, крутило в устье Сыма, когда востротолая жена Дамки, у которой когда именины, она и сама не помнила, уговорила одного рыбака догнать лодку и, если не хватил супруга паралич, если нажрался он до потери руля и лежит на дне лодки, доставить его домой, тут уж она с ним сама разберется!..

Дамка был трезв и до того напуган, что, и доставленный в Чуш, все повторял оконтуженно: «Товаришшы! Товаришшы! У меня дед…»

Жена Дамки напугалась.

– О-ой! Изурочили! Озевали! – закричала. – Это все кержаки, кержаки – ушкуйники болотные!..

Всю ночь отваживалась с Дамкой жена, поила настоями десяти трав с семи полян. Однако никакие домашние и лесные зелья знахарей и даже святая вода желаемого действия не произвели. Больной перестал, правда, повторять насчет деда и заслуженного отца, но закатывал глаза, трудовой его язык не ворочался, голова не держалась, дело подвигалось к концу.

И тогда жену Дамки те же лесные люди – старообрядцы, которых она срамила, надоумили испытать еще одно, последнее средство: принести земли из бани, из-под крестом лежащих половиц, разболтать с вином и выпоить, пусть даже насильственно – этак в тайге от веку вызывали в живом теле отвращение к мертвой земле. Дамку от банной грязи выворотило наизнанку. Отравленный лекарями, он уж послушно все исполнял, покорно принял и вареного молока с настоем полыни, уснул младенчески тихим сном и не крутился, как всегда, не ворочался целых двое суток.

Тем временем выяснилось: по Енисею делало пробный рейс судно краевой рыбинспекции, оборудованное по последнему слову техники так, что если б Дамка не полез самодуром в пасть «рыбхалеям», они бы все равно его изловили и ошмаргали, как липку. Старуху «Куру» знали и по контуру и по дыму, даже по звуку двигателей в ночное время отличали. Теперь вот пойди поборись с «имя». Жертву рыбнадзоровского террора жалели, успокаивали, пробовали напоить задарма, но жена отстояла Дамку от посягательств.

Скоро, однако, Дамка очухался, снова занялся тайным промыслом, пил, веселился, не хотел платить штраф. Вот и спровадили его в суд, вот и перекрестились наши пути в Енисейске и появилась у Дамки новая причина для веселых рассказов.

Выжидая время, в сонные предутренние часы Дамка томился бездельем, сдерживался изо всех сил, чтоб не податься в шпионский вояж. Ему хотелось выпить, он пробовал выведать у Акима, не разжился ли поллитровкой на «Бетушке», но тот цыкнул на него, и мы пошли от реки через большой и бедный огород, где только еще набирала цвет картошка, третьим листом топорщились огурцы в срубе парника, чуть мохнатилась морковная гряда, на обочинах жалась к жердям вялая крапива, шли медленно туда, где мучился умирающий брат – тех наркотиков, которые ему давали в местном медпункте, хватало уже только часа

на два-три. Надо было думать и решать: где и как доставать лекарство? Дамка сразу из памяти исчез, забылся, да они, такие люди, только и заметны, когда мельтешат перед глазами. Память не держит их, они улетучиваются, как дым от сырого костра, хотя и густой, удушливый, но скоротечный.

За жердями огорода, за старой дверцей, устало и серо светилась река, на дне которой лежали сотни и тысячи самоловов, сетей, подпусков, уд, и путались в них, секлись, метались в глубине проткнутые железом осетры, стерляди, таймени, сиги, налимы, нельмы, и чем строже становился надзор, тем больше их умирало в глуши воды, и плыли они потом, изопрелые, безглазые, застегнутые по вздутому брюху пуговицами плащей, метались по волнам, растопырив грязью замытые крыла и рты, и как охраняющие реку люди, так и воровски на ней действующие браконьеры удрученно качали головами: «Что делается? Что делается? Гибнет народное добро!»

У золотой карги

Верстах в шести выше речки Опарихи в Енисей впадает еще более бесноватая, светлая и рыбная речка Сурниха, на которой когда-то и ограбили Колю с Акимом желны, сожрав у них червяков.

По водоразделу Сурнихи оканчивается горный перевал. Издалека видно бокастую горбину осередыша. Она круто обрезана водой, как бы даже отшатнулась от Енисея, вздыбилась, свалилась осыпным каменным мысом в Сурниху.

Закончившись на виду, перевал продолжается в воде, под ее толщей. Бурливо, раскатисто над ним течение Енисея. Подводные гряды здешние рыбаки называют каргами, на них и в них застревает много хламу, в хламе и камнях лепится всякая водяная козявка, ручейник, жук-водоплав и особенно много

мормыша – любимой пищи осетра, стерляди да и всякой другой водяной твари.

От Сурнихи до Опарихи и ниже их по течению держится красная рыба, и поэтому в устье этих речек постоянно вьются чушанские браконьеры, которые слово это хулительным не считают, даже наоборот, охотно им пользуются, заменив привычное слово – рыбак. Должно быть, в чужом, инородном слове чудится людям какая-то таинственность и разжигает она в душе позыв на дела тоже таинственные и рисковые, и вообще развивает сметку, углубляет умственность и характер.

Законы и всякие новые веяния чушанцами воспринимаются с древней, мужицкой хитрецой – если закон обороняет от невзгод, помогает укрепиться материально, урвать на пропой, его охотно приемлют, если же закон суров и ущемляет в чем-то жителей поселка Чуш, они прикидываются отсталыми, сирыми, мы, мол, газетов не читаем, «живем в лесу, молимся колесу». Ну а если уж припрут к стенке и не отвертеться – начинается молчаливая, длительная осада, измором, тихим сапом чушанцы добиваются своего: что надо обойти – обойдут, чего захотят добыть – добудут, кого надо выжить из поселка – выживут…

Вокруг костра сидят рыбаки, распустившись душой и телом перед нелегкой работой, ждут ночи, лениво перебрасываются фразами. В костер, помимо двух бревен, свалены крашеные двери с буквой Ж, старые клубные диваны, шкаф, дороженные тесины – полыхает высоко, жарко. Огонь потеребливает вечерним ветерком, гуляющим над рекою, лица жжет мечущимся пламенем, а спины холодит сквозящим из тайги свежаком и стылостью от грязно расползшейся хребтины льда, нагроможденной под урезом яра. Не верится, что около Москвы и по всей почти Средней России свирепствует засуха, горят там леса, умирают травы и хлеба, обнажаются болотины, выступают и трескаются илистые донья озер и прудов, мелеют реки, стонет и мрет от зноя живность в полях и в лесу.

В этих местах затяжная весна, по причине которой совершился страшной силы ледоход. Матерый лед на реке удерживали холода, но в верховьях Енисея уже начался паводок. На Красноярской ГЭС сбросили излишки воды, волной подняло, сломало лед. Грозный, невиданный ледолом сворачивал все на своем пути, торосился в порогах и шиверах, спруживал реку, и, ошалелая, сбитая с ходу, вода неудержимо катилась по логам и поймам, захлестывала прибрежные селения, нагромождала горы камешника, тащила лес, загороди, будки, хлам, сор. В лесах и особенно в низком, болотистом междуречье Оби и Енисея по сию пору лежат расквашенные снега. Разлив необозрим и непролазен. Напрел гнус.

Днем я заходил в прибрежную шарагу, продирался по Опарихе – разведать, как там хариус, поднялся ли? В одном месте, под выстелившимся ивняком заметил лужицу. Мне показалось, она покрыта плесневелой водой. Я наступил, провалился и упал – комар плотной завесой стоял, именно стоял в заветерье, не тот долгодумный российский комар, что сперва напоется, накружится, затем лениво примется тебя кушать. Нет, этот, северный, сухобрюхий, глазу почти не заметный зверина набрасывается сразу, впивается без музыки во что придется, валит сохатого, доводит до отчаяния человека. В этих краях существовала когда-то самая страшная казнь – привязывать преступника, чаще богоотступника, в тайге – на съедение гнуса.

К рекам, на обдувные горные хребты давно пора выйти зверю, но половодье и снега отрезали все пути в пространственной, заболоченной тайге. Гнус приканчивает там беззащитных животных. Днями продрался к реке сохатый, перебрел протоку, лег на приверхе острова, на виду наезжей дикой артели известкарей. Схватив топоры, ломы, известкари подкрадывались к животному. Сохатый не поднимался, не убегал от них. Он смотрел на людей заплывшими гноем глазами. В сипящих ноздрях торчали кровяные пробки, уши тоже заткнуты сохлой кровью. Горбат, вислогуб, в клочьях свалявшейся сырой шерсти, зверь был отстраненно туп и ко всему безразличен, лишь тело его и сонно отмякшие глаза чувствовали освобождение от казни, ноздри втягивали не пыльно сгущенный вихрь гнуса, а речной ветер, пробивающий и грязную шерсть, и поры толстой кожи. Только кончики ушей мелко-мелко, почти неприметно глазу трепетали, и по ним угадывалась способность большого костлявого тела воспринимать отраду жизни.

Захвостали, забили известкари сохатого – теперь с мясом живут, с обескровленным, полудохлым, а все же с мясом – довольно чебаками и окуньем пробавляться.

На закате я выдернул в устье Опарихи штук двадцать хариусов. Аким искал в кустах имущество, лаялся. Попросил бы чего надо у рыбаков, посоветовал я. «Ё-ка-лэ-мэ-нэ!» – ударил себя в грудь Аким и махнул на меня рукой – что с ненормального возьмешь! Еще когда шли по реке, Аким обронил в воду коробок со спичками. Я предложил подвернуть к рыбакам. Он на меня взъелся: сунься, говорит, к лодке, да еще с незнакомым, да еще с пузатым! Я засмеялся, полагая, что он шутит. Но когда удил, мне мелким показался хариус в устье Опарихи, и я подался за поворот, обнаружил там бородатого мужика – сидит, корабликом хариусов ловит, мирный такой рыболов. По привычке городского, чересчур

общительного человека я сунулся поговорить насчет клева, но из кустов вывалился Аким и отдернул меня безо всякой вежливости с берега.

– Ну се ты везде суесся? – зашипел он. – Кержак рыбачит? Да? Харюзов ловит? Да? Ты и ухи развесил! – Он смотрел на меня, как на первоклашку. – Два его брата в тальниках сохатых свежуют. Трех завалили, кровь выпускают – не текет. Нету крови. Комар высосал. Нисе-о-о-о. На пароходы продадут. Городские хоть се слопают.

Аким нашел спички в железном коробке – коробок этот с выштампованной на нем Спасской башней я дарил когда-то Коле. Эх, Коля! Коля! Братан. Котел и ложки Аким не сумел найти. Жарит хариусов на рожне, морду узкую от жара воротит, от дыма щурится. Вкуснейшая штука – рыба, жаренная на рожне, кто, конечно, умеет ее жарить, чтоб не сжечь хвоста и брюха, а спину рыбы не оставить сырой.

Возле костра собралось четверо ловцов – шел подозрительный катер, спугнул их с самоловов, вот они и валялись на камнях, пережидали. Пробовали забавляться хариусом, но припоздали, к ночи ближе стало морочно, упало давление воздуха, рыба перестала играть и кормиться, лишь таймень в залуке гонял по отмели чебаков, ахал хвостом всю ночь, будто из дробовика. Кержаки до глухого часа таились в кустах, в первовечернем, густом мороке, на двух лодках ушли к другому берегу Енисея, ткнулись в остров, затихли – прячут мясо в лед.

Опрятный, чисто выбритый рыбак, степенный в движениях, походке и разговоре, по фамилии Утробин, извлек краевую газету и от нечего делать стал читать вслух, бросая усмешливые взгляды на слушателей: «За последние годы многие браконьеры для большей свободы действия стали орудовать по ночам. Это в сильной мере осложнило работу рыбоохраны. Сейчас в борьбу с ними вступили совершенные приборы ночного видения. Вскоре ими будут оснащены все мототеплоходы и катера Енисейрыбвода, радиус действия этих сложных оптических приборов достигает нескольких километров. Так что если ночной браконьер и уйдет от преследования, то внешний его вид, лицо, одежда, опознавательные знаки на моторке, марка мотора и другие подробности уже будут известны работникам рыбоохраны.

А уходят браконьеры довольно часто. Моторы у них обычно сильные, иногда даже по два на лодке. Попробуй догони!»

– Ехали на тройке – хрен догонишь! А вдали мелькало – хрен поймашь! – самодовольно сказал лежавший за костром мужик с яростным костлявым лицом и оловянного свечения взглядом. Он носил прозвище Командор и крутил роман с продавщицей Раюсей.

– Гай-ююю-гав! – залился, задергался ногами, вороша огонь, Дамка.

– Нэ перебивай! – приподнялся на локте закомлистый, грузный и отчего-то надменный мужик.

– «Теперь в этих случаях будут выручать приборы ночного видения, – продолжал читать Утробин, – а днем фоторужья, которые тоже появились на вооружении рыбоохраны. С каждым годом увеличиваются и транспортные средства Енисейрыбвода. После ледохода на Енисей и его притоки для несения патрульной службы вышли шестьдесят мощных мототеплоходов, четырнадцать катеров, тридцать пять моторок и более ста дюралюминиевых лодок. Весь флот приведен в полную боевую готовность. Врагам природы не будет никакой пощады!»

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/viktor-astafev/car-ryba

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити